

PI 1394222
С. ПИСАХОВ
P
СКАЗКИ



С. Писахов



СКАЗКИ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1957

ОТ АВТОРА

Сочинять и рассказывать свои сказки я начал давно, записывал редко.

Мои деды и бабки со стороны матери родом из Пинежского района. Мой дед был сказочник. Звали его сказочник Леонтий. Записывать сказки никому и в голову не приходило. Деда Леонтия я не застал. Говорили о нем, как о большом выдумщике — рассказывал все к слову и все к месту.

С детства я жил среди богатого северного словотворчества. В работе над сказками память восстанавливает отдельные фразы, поговорки, слова. Например: «Какой ты горячий, тебя тронуть — руки обожжешь».

Девица, гостья из Пинеги, рассказывала о своем житье: «Утресь маменька меня будит, а я сплю-тороплюсь».

Меня спрашивают: откуда беру сказки, откуда беру темы? Ответ прост:

— Ведь рифмы запросто
со мной живут:
Две придут сами,
третью приведут.

В 1924 году в сборнике «На Северной Двине» была напечатана моя сказка «Не любо — не слушай» («Морожены песни»). Сказка стала жить и... стала народной. Не раз рассказчики передавали сказку как свою.

С Сеней Малиной я познакомился в 1928 году. Сеня Малина жил в деревне Уйма в восемнадцати километрах от Архангельска. Это была наша единственная встреча. Старик рассказывал о своем тяжелом детстве и на прощанье рассказал, как он с дедом «на корабле через Карпаты ездил» и как его собака Розка волков ловила. Умер Малина, кажется, в том же 1928 году.

Чтя память безвестных северных сказителей — моих сородичей и земляков, я свои сказки веду от имени Сени Малины.

НЕ ЛЮБО—НЕ СЛУШАЙ

Про наш Архангельский край столько всякой неправды да напраслины говорят, что надумал я сказать все, как есть у нас.

Всю сущую правду, что ни скажу — все правда. Кругом земляки, соврать не дадут. К примеру, река наша Двина в узком месте тридцать пять километров, а в широком — шире моря. А ездили по ней на льдинах вечных. У нас и ледяники есть. Это такие люди, которые ледяным промыслом живут: льдины с моря гонят да отдают впрокат, кому желательно.

Запасливые старухи в вечных льдинах проруби делали. Сколько годов держится прорубь!

Весной, чтобы занапрасно льдина с прорубью не таяла, ее на погребицу затаскивали — квас, пиво студили. В старые годы девкам в приданое первым делом вечную льдину давали, вторым делом — лисью шубу, чтобы было на чем да в чем за реку в гости ездить.

Летом к нам много народу приезжает. Вот придут к ледянику да торговаться учнут, чтобы дал льдину получше, а взял бы по три копейки с человека.

Ну, ледяник ничего, для виду согласен. Подсунет дохлую льдину — старую, иглистую, чуть живую (льдины хоть и вечные, да и им век приходит).

Приезжие от берега отъедут километров с десяток, тоже, как путевые, песню заведут. Наши ребята уж караулят — крепкой льдиной толкнут, старая-то и сыпаться начнет. Проезжие завизжат:

— Ой, тонем, ой, спасите!

Ну, ребята подъедут на крепких льдинах, обступят.

— По целковому с человека, а то вон и медведь плывет, да и моржей напустим.

А мишки белые с моржами у нас, вроде как на жалованье или на поденщине, — свое дело знают. Уже плывут. Приезжие с перепугу платят по целковому — рублю. Впредь не торгуйся! А то мы сами хорошей компанией наймем льдину, сначала пешней попробуем, сколько ей годов, узнаем, коли больше ста — не возьмем, коли сотни нет — значит молода и для дела гожа. У нас и старики, которым меньше ста, козырем ходят.

На льдину сядем, парус для скорости поставим, а от солнца зонтики растопырим, чтобы не очень припекало. У нас летом солнце-то не закатывается: ему на одном месте стоять скучно, ну, оно и крутит по небу. В сутки раз пять—десять обернется, а коли погода хорошая да поветерь, то и семьдесят, коли небо тучами заволокет, так солнце отдыхает, стоит.

А на том берегу всякая благодать: всяческое благорастворение. Морошка крупная, одна ягода по три фунта и боле.

Семга да треска сами ловятся, сами потрошатся,

сами солятся, сами в бочки ложатся. Рыбаки только бочечки к берегу подкатывают да днища заколачивают. А которая рыба побойчей — сама выпотрошится да в пирог завернется. Семга да палтасина ловчее всех рыб в пироги заворачиваются. Хозяйки только маслом пироги смазывают, в печку подсаживают.

Белые медведи молоком торгуют (приучены). Белые медвежата семечками и папиросами промышляют. Птички всякие чирикают: полярные совы, чайки, гаги, гагарки, гуси, лебеди, северные орлы, пингвины.

Пингвины у нас хоть не водятся, но приезжают на заработки: с шарманкой ходят да с бубном, а иные обезьяной одеваются, всякие штуки представляют. Им хоть и не пристало обезьяной одеваться — ноги коротки, ну, да мы неприведливы, нам хоть и не всамделишная обезьяна, лишь бы смешно было.

А в большой праздник да возьмутся пингвины с белыми медведями хороводы водить, да еще вприсядку пустятся, ну, до умореньья! А моржи да тюлени с нерпами у берега в воде хлюпают да поуркивают — музыку делают по своей вере.

А ребята поймают кита или двух, привяжут к берегу и заставят для прохлаждения воздуха воду столбом пускать. А бурым медведям ход настрого запрещен.

По зажилью столбы понаставлены и надписи на них: «Бурым медведям ходу нет».

Раз мужик вез муки мешок, — это было вверху, выше Лявли. Вот мужик и обронил мешок в лесу. Медведь нашел, в муке вывалялся весь и стал на манер белого. Стащил медведь охотничью лодку,

приехал в город: его водой да поветерью несло, он только рулем ворочал. До рынка доехал, пересел на льдину: думал, так больше будет белому медведю под стать. Медведь замыслил сначала промышлять семечками да квасом, а как разживется — и самогоном торговать, да его узнали — как не узнать? — обличье-то показало! Что смеху было! В воде его выкупали, мокрехонек, фыркает, а его с хохотом да с песнями ребята за город прогнали.

Медведь заплакал от обиды. Народ у нас добрый, дали ему вязку калачей с анисом, сахару полпуда да велели кой-когда за шаньгами приходить.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Летом у нас круглые сутки светло, мы и не спим, день работаем, а ночь гуляем да с оленями вперегонки бегаем. А с осени к зиме готовимся. Северное сияние сушим. Спервоначалу-то не столь высоко светит.

Бабы да девки с бани его дергают, а ребята с заборов надергают эки охапки. Оно что — дернешь, вниз головой опрокинешь — потухнет, мы пучками свяжем, на подволоку повесим, и висит на подволоке, не сохнет, не дохнет. Только летом свет теряет. Да летом и не под нужду, а к темному времени опять оживается.

А зимой другой раз в избе жарко, душно — не продохнуть, носом не проворотить, а дверь открывать нельзя — на улице мороз щелкает. Возьмем северное сияние, теплой водичкой смочим и зажгем. И светло так горит, и воздух очищает, и пахнет хорошо, как бы сосной, похоже на ландыш. Девки у нас модницы, выдумщицы, северное сияние в косах носят — как месяц светит! Да еще из сияния звезд наплетут, на

лоб налепят. Страсть сколь красиво. Просто загляденье!

Про наших девок в песнях пели:

> У зари, у зореньки много
> ясных звезд,
> А в деревне Уйме им и счету нет!

Девки по деревне пойдут — вся деревня вызвездит.

ЗВЕЗДНОЙ ДОЖДЬ

По осени звездной дождь бывает. Как только он зачастит, мы его собираем, стараемся.

Чашки, поварешки, ушаты, крынки, горшки и квашни, ну, всякую к делу подходящую посуду вытащим под звездной дождь. Дождь в посудах устроится, стихнет. Мы в бочки сольем, под бочки хмелю насыплем.

Пиво такое крепкое живет. Мы этим пивом добрых людей угощаем во здоровье, а полицейских злыдней этим же пивом так звезданем, что от нас кубарем катятся.

Нас-то самих это пиво и веселит и молодит, у нас, кто часто пьет, лет до двести живут.

Да это не сказка какая, а взаболь у нас так: кругом народ читающий, знающий, соврать не дадут: у нас так и зовется: «Не любо — не слушай».

МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ

В прежно время к нам заграничны корабли приезжали за лесом. От нас лес увозили. Стали и песни увозить.

Мы до той поры и в толк не брали, что можно песнями торговать.

В нашем обиходе песня постоянно живет, завсегда в ходу. На работе песня — подмога, на гулянье — для пляса, в гостьбе — для общего веселья. Чтобы песнями торговать — мы и в уме не держали.

Про это дело надо объяснительно обсказать, чтобы сказанному вера была. Это не выдумка, а так дело было.

В стары годы морозы жили градусов на двести, на триста. На моей памяти доходило до пятисот. Старухи сказывают — до семисот бывало, да мы не очень верим, что не при нас было, того, может, и вовсе не было.

На морозе всяко слово, как вылетит, и замерзнет! Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет, свой свет. Мы по льдинкам видим, что сказано, как сказано. Ежели новость кака али

заделье — это, значит, деловой разговор, — домой и несем, дома в тепле слушаем, а то на улице в руках отогрем. В морозны дни мы при встрече шапок не снимаем, а перекидываемся мороженым словом приветным. С той поры повелось говорить: словом перекидываться. В морозны дни над Уймой морожены слова веселыми стайками перелетают от дома к дому да через улицу. Это наши хозяйки новостями перебрасываются. Бабам без новостей дня не прожить.

Как-то у проруби сошлись наша Анисья да сватья из-за реки. Спервоначалу ладно говорили, слова сыпали гладкими льдинками на снег, да покажись Анисье, что сватья сказала кисло слово. По льдинке видно.

— Ты это что? — кричит Анисья. — Како слово сказала? Я хошь ухом не воймую, да глазом вижу!

И пошла, и пошла, ну, прямо без удержу, до потемни сыпала. Да уж како сыпала, прямо клала да руками поправляла, чтобы куча выше была. Сватья тоже не отставала, как подскочит (ее злостью подбрасывало) да как начала переплеты словами выплетать! Слова-то — все дыбом.

А когда за кучами мерзлых слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисья дома свекровке нажалилась, что сватья ей всяких кислых слов наговорила.

— Ну и я ей навалила, только бы теплого дня дождаться, оно хошь и задом наперед начнет таять, да ее, ругательницу, насквозь прошибет!

Свекровка-то ей говорит:

— Верно, Анисьюшка, уж вот как верно твое

слово. И таки они горлопанихи на том берегу, просто страсть! Прошлу зиму я отругиваться бегала, мало не сутки ругалась, чтобы всю-то деревню переругать, духу не переводила, насилу отругалась. Было на уме еще часик-другой поругаться, да опара на пиво была поставлена, боялась, кабы не перестояла. Посулила еще наспутьи забежать поругать.

А малым ребятам забавы нужны. Матери-потаковщицы на улицу выбежат, наговорят круглых, ласковых слов. Ребята ласковыми словами играют, слова блестят, звенят музыкой. За день много ласковых слов переломают. Ну, да матери на ласковы слова для ребят устали не знают.

А девкам перво дело песни. На улицу выскочат, от мороза подол на голову накинут, затянут песню старинну, длинну, с переливами, с выносом! Песня мерзнет колечушками тонюсенькими-тонюсенькими, колечушко в колечушко отсвечивают цветом каменья драгоценного, отсвечивают светом радуги. Девки из мороженых песен кружева сплетут да всяки узорности. Дом попереду весь улепят да увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут. По краям частушек навесят. Где свободно место окажется, приладят слово ласково: «Милый, приходи, любый, заглядывай!».

Нарядне нашей деревни нигде не было.

Весной песни затают, зазвенят, как птицы невиданны запоют!

Как-то шел англичанин, он зиму проводил у нас по торговым делам, нашему языку обучался, а известно — англичанам до всего чужого дело есть, всюду свой нос суют. Увидал украшенье — мороже-

ны песни, и давай от удивленья ахать да руками размахивать:

— Ах, ах, ах! Ах, ах, ах! Кака распрекрасна интересность диковинна, без всякого береженья на само опасно место прилажена!

Наловчился англичанин да отломил кусок песни, думал, не видит никто. Да, не видит, как же! Ребята со всех сторон слов всяческих наговорили, и ну — в него швырять. Англичанин спрашивает того, кто с ним шел:

— Что за штуки колки каки, чем они швыряют?

— Так, пустяки.

Англичанин с большого ума и «пустяков» набрал охапку. Пришел домой, где жил, «пустяки» по полу рассыпал, а песню рассматривать стал. Песня растаяла да только в ушах прозвенела, а «пустяки» на полу тоже растаяли да запоскакивали кому в нос, кому куда. Англичанину выговор сделали, чтобы он таких слов в избу не носил.

Англичанину загорелось песен наказывать, в Англию везти на полюбование да на прослушанье.

Вот и стали песни заказывать да в особые ящики складывать. Таки, что термоящиками прозываются. Песню уложат да обозначат, которо — перед, которо — зад, чтобы с другого конца не начать. Больши кучи напели. А по весне на перьвых пароходах и отправили. Пароходищи нагрузили до труб. В Англию привезли. Народу любопытно: каки таки морожены песни из Архангельскова города? Театр набили полнехонек.

Вот ящики раскупорили, песни порастаяли, да как завились, да как зазвенели! Да дальше, да звон-

че, да и все! Англичаны в ладоши захлопали, закричали:

— Еще, еще! Слушать хотим!

Да ведь слово не воробей, выпустишь не поймаешь, а песня, что соловей, прозвенит — и вся тут. К нам письма слали и заказны, и просты, и доплатны, и депеши одну за другой: «Пойте больше, песни заказывам, пароходы готовим, деньги шлем, упросом просим: пойте!»

С этого и повелась торговля песнями.

Коли деньги шлют, значит не обманывают. Наши девки, бабы и старухи, которы в голосе, — все принялись песни тянуть, морозить.

Сватьина свекровка, ну, та сама, котора отругиваться бегала, тоже в песенно дело вошла. Поет да песенным словом помахиват, а песня мерзнет, как белы птицы летят. Внучка старухина у бабки подголоском была. Бабкина песня — жемчуга да бральянты-самоцветы, — внучкино вторенье, как изумруды.

Ну, бабкину песню в особый ящик уклали.

Девки поют, бабы поют, старухи поют. Песня делам не мешает, рядом с делом идет, доход дает.

Во всех кузницах стукоток, брякоток стоит — ящики для песен сколачивают.

На песнях много заработали. Работа не трудна. Да наши мужики заговорили:

— Бабы, пойте больше, больше зарабатывайте. Мы хотим сделать крыши серебряны, позолочены, железны крыши блеску-виду не имеют.

— Нам англицких денег не жалко, хошь бани серебряны делайте.

— Да скажите-ка толком, для кого песни поете?

— Для англичан. Песен воровски не увезти, силой не заставишь песни петь, — вот и посылают нам деньги. Мужики бороды в стороны отвернули с помешки, чтобы бороды слов не задерживали.

— Дакосе мы их разуважим, свое «почтение» скажем.

Ну и запели!

Проходящие мимо сторонились от тех песен. Льдины летели тяжело, но складно. Нам забавно — нето не для нас, слушать не нам.

Для тех песен особы ящики делали и таки большущи, что едва в улице поворачивали. К весне мороженых песен больши кучи накопилось.

Заместо песен-то мужики в ящики всяких ругательных слов да издевки наговорили, оно хошь и складно... Ну, для кого что подходяще.

Англичаны приехали. Деньги платят, ящики таскают, на пароход грузят и говорят:

— Что таки тяжелы сейгод песни?

Мужики бородами рты прикрывали, чтобы смеху не было слышно и отвечают:

— Это особенны песни, с весом, с особенным уважением в честь ваших лордов напеты. Мы их завсегда оченно уважам. Как к слову приведется, каждый раз говорили: «Кабы им ни дна ни покрыши». Это-то по-вашему значит — всего хорошего желаем. Так у нас испокон века заведено. Так всем и скажите, что это от архангельского народу особенное уважение.

Англичаны и обрадели. Пароходы нагрузили, флагами обтянули, в музыку заиграли. Поехали.

Домой приехали, сейчас афиши и объявления в газетах крупно отпечатали, что от архангельского народу особенное уважение английцкой королеве: песни с весом!

Король и королева ночь не спали, с раннего утра, задним ходом, в театр забрались, чтобы хороши места захватить.

Прочему остальному народу с полден праздник объявили по этому случаю.

Народу столько набилось, что от духу в окнах стекла вылетели.

Вот ящики поставили и все разом раскупорили. Ждут. Все вперед подались, чтобы ни одного слова не пропустить.

Песни порастаяли и зазвенели...

На что англичаны нашему языку не обучены, а поняли!

СВОЯ РАДУГА

Ты спрашиваешь, люблю ли я песни?

Песни! Без песни, коли хочешь знать, на сердце — потемки. Песней мы себя проветриваем, песней, как лампой, освещаем.

Смолоду я был песенным мастером, стихи плел. Девки в песенные плетенки всякую ягоду собирали.

Песни люблю, рассказы хорошие люблю, вранье не терплю! Сам знаешь, что ни говорю — верно, да такое, что верней и искать негде.

Раз ввечеру повалился спать на повети и чую: сон и явь из-за меня друг дружке кости мнут. Кому я достанусь? Сон норовит облапить всего, а явь уперлась и пыжится на ноги поставить.

Мне что? Пущай себе проминаются. Я тихим манером — да в сторону, в ту, где девки песни поют.

Мимо меня песня текла широкая, яркая, с голосовыми переливами. Песня звенит и зовет. Как тут устоишь? Сел на песню, и понесло и вызняло меня в далекий вынос.

Девки петь перестали, по домам разошлись, а меня носет выше и выше, — куда, думаю, меня вы-

несет? Как домой буду добираться? В небе дороги нет. Долго ли в пустом месте себя потерять. Смотрю, а впереди радуга. Я па радугу вскочил, в радугу вцепился, уселся покрепче, края загнул, чтобы не вытряхнуться, и поехал вниз.

Еду — не тороплюсь, не в частом бываньe ехать в радужном сверканье. Еду — песню пою, это от удовольствия: очень разноцветно вокруг меня. Радугу под собой сгибаю, конец в нашу Уйму правлю, к своему дому да в окошко. И с песней в радужном сиянии в избу и вкатился!

Моя баба плакать собралась, черное платье достала, причитанье в уме составляет; ей соседки насказали:

— Твоего Малину невесть куда унесло, его, поди, и в живности нет, ты уж, поди, вдова!

Как изба светом налилась, мою песню жена услыхала, разом на обрадованье повернула. Самовар согрела, горячих опекишей на стол поставила.

В тот раз чай пили без ругани. И весь вечер меня жена «светиком» звала.

На улице потемень, а у нас в избе светлехонько. Только я шевельнусь, свет по избе разными цветами заиграет!

Дело-то простое. Я об радугу натерся. Сам знаешь — протертые локти, коленки завсегда хорошо светятся, а тут терто об радугу!

Спать пора и нам и другим.

Свет из наших окошек на всю деревню, вся деревня и не спит. Снял рубаху, в корзину спрятал, темно стало. В потемки заместо лампы мы теперь рубаху вешаем. И столь приятственный свет, что не

только наши уемские, а из дальних деревень стали просить на свадьбы для нарядного освещенья.

Эх, показать сейчас нельзя. Рубаху в Верхно-Ладино увезли. Там свадьбы идут, над столами мою одежу люминацией повесили.

Ты, гостюшко, на спутье захаживай. Будет рубаха дома, — полюбуешься, сколь хорошо своя радуга в дому.

СНЕЖНЫЕ ВЕХИ

Простое дело — снег уминать книзу: ногами топчи, и все тут. А я кверху снег уминаю, — когда снег подходящий да когда в крайность запонадобится.

Вот раз дали мне наряд дорогу вешить — значит вехами обставить. А мне неохота в лес за вехами ехать. Тут снег повалил густо. Ветра не было, снег валил степенно, раздумчиво, без торопливости, будто на поденщине работал.

Я стал на место, куда веха надобна, растопырился и заподскакивал. Снег сминаться стал над головой, метров на десять выстал столб. Я в сторону подался, столб на месте остался.

Я на другое место — и там столб снежный головой намял. И каким часом али минутой боле я всю дорогу обвешил, столбы лопатой прировнял. Два столба про запас припас.

Перед потеменью солнышко глянуло и так малиново ярко осветило мои столбы-вехи!

Я сбоку водой плеснул, свет солнечно-малиновый в столбы и вмерзнул.

Уж ночь настала, темень пала, спать давно пора, а народ все живет, на свет малиновый любуется, по дороге мимо вех прогуливается.

Старухи набежали девок домой гнать:

— Подите, девки, домой, спать валитесь, утром рано разбудим. Не праздник сегодня, не время для гулянки!

Увидали старухи столбы солнечно-малиновые, на себя оглянулись. А при малиновом сиянии все старухи маковыми цветами засияли да такими приятственными сделались.

Старухи сердитость сбросили, личики стали улыбчатые и с гунушками да утушками поплыли, про спанье позабыли.

Ты знаешь ли, что гунушками-то у нас зовут? Это когда губы с маленькой улыбочкой — бантиком.

К старухам старики подошли, тоже песни завели. Песни звончее стали.

А девки — все алые розаны!

По зимней дороге словно сад зацвел! Цветики красные, маки алые, розаны.

Песни широкими лентами огнистыми, тихими молниями полетели вокруг, сами светят, звенят и летят над полями, над лесами, в самую темную даль свет понесли.

Вот и утро стало, свет денной в полную силу взошел. Мои столбы-вехи со светлым днем не спорят.

Стало время по домам расходиться, за каждодневную работу браться. Все в черед стали, и всяк ко мне подходил с благодарением и поклон отвешивал с почтением. И за работу мою и за свет солнечной, что я к ночи припас. Девки и бабы в

полном согласье за руки взялись до Уймы и по всей Уйме растянулись.

Не дорога — красота!

Проезжие мужики увидали, от удивленья и умиленья шапки сняли. «Ах!» — сказали и так до полдён стояли. После шапки надели набекрень, рукавицы за пояс, бороды руками расправили и за нашими девками вослед.

Мы им поучительной разговор сделали: на чужой каравай рта не разевай.

Проезжие не унимаются:

— А ежели мы сватов зашлем?

— Девок не неволим, на сердце запрету не кладем. А худой жених хорошему дорогу показывает.

В ту зиму к нам со всех сторон сватьи да сваты наезжали. Всякой деревне хотелось с Уймой породниться. Наши парни тоже где хотели невест выбирали. В почете были.

Нас с женой на свадьбы первоочередно звали и самолутчими гостями величали.

Ну ладно. В то первое утро, когда все разошлись по домам да на работу, я запасные столбы к дому прикатил, по переду дома, по углам, и поставил прямь окошек. С вечера, с сумерек и до утрешного свету во всем доме у нас светло, по всей Уйме свет. Прямь нашего дому народ на гулянку собирался, песни пели, пляски вели.

Так и говорили:

— Пойдемте к Малинину дому в малиновом свете гулять!

У меня каждый день гости и вверху и внизу. И свои уемские и городские — наезжие. Моя баба с

ног сбилась: стряпала, пекла, варила, жарила, она по Уйме первой хозяйкой живет.

Слыхал, поди, стару говорю:

«Худая каша до порогу, хорошая — до задворья, а моя жена кашу сварит — до заполья идешь, из сыта не выпадешь.

Наши уемские — народ с пониманием: раза два их угощали, а потом они со своим стали приходить. Вся деревня. Водки не пили. Сидим по-хорошему разговариваем, песни поем. Случится молчать, то и молчим ласково, с улыбочкой.

Девки к моим малиновым столбам изо всех сил выторапливались. Какая хочешь некрасивая, во что хочешь одета, малиновым светом ее осветит — и с лица кажет распрекрасная и одежой разнарядная. Да так, что из-под ручки посмотреть!

Говорят: «Куру не накормишь, девку не оденешь, девкам сколько хочешь обнов — все мало».

В ту зиму одели-таки девок — малиновым светом! Матери сколько денег сберегли, новых нарядов не шили. Наши девки нарядне всех богатеек были!

ЯБЛОНЕЙ ЦВЕЛ

Хорошо дружить с ветром, хорошо и с дождем дружбу вести.

Раз вот я работал на огороде, это было перед утром. Солнышко чуть спорыдало.

В ту же минуту высоко в небе что-то запело переливчато. Прислушался. Песня звончее птичьей. Песня ближе, громче, а это дождик урожайный мне «здравствуй!» кричит.

Я дождику во встречу руки раскинул и свое слово сказал:

— Любимый дружок, сегодня я ничего в огороде в рост пускать не буду, а сам расти хочу!

Дождик перестал по сторонам разливаться, а весь на меня, и не то что брызгал аль обдавал, а всего меня обнял, пригладил, буди в обнову одел. Я от ласки такой весь согрелся внутрях, а сверху в прохладной свежести себя чувствую.

Стал я на огороде с краю, да у дородного краю, босыми ногами в мягкую землю. Чую, в рост пошел! Ноги корнями, руки ветвями. Вверх не очень подаюсь — что за охота с колокольней ростом гоняться!



Стою, силу набираю да придумываю, чем расти, чем цвести? Ежели Малиной, дак этого от моего имени по всей округе много.

Придумал стать яблоней. Задумано-сделано. На мне ветки кружевятся, листики развертываются. Я плечами повел и зацвел. Цветом яблоневым весь покрылся.

Я подбоченился, а на мне яблоки спеют, наливаются, румянятся. Духу яблочному от спелых яблоков вся деревня зарадовалась.

Моя жона первой увидела яблоню на огороде, — это меня-то, но за цветущей нарядностью меня не приметила. Рот растворила, крик распустила:

— И где это Малина запропастился? Как его надо, так его нету! У нас тут заместо репы да гороху на огороде яблоня стоит. Да как на это начальство поглядит?

Моя жона словами кричит сердито, а личиком улыбается. Это я ей улыбку сделал, да по-своему. Ветками чуть тряхнул и вырядил жону в невиданную обнову.

Платье из зеленых листиков, оподолье цветами густо усыпано, а по оплечью спелые яблоки румянятся. Моя баба приосанилась, себя в стройность привела. На месте повернулась павой, по деревне поплыла лебедью.

Вся деревня просто ахнула! Парни гармони растянули, грянули:

Во деревне нашей
Цветик яблоня цветет,
Цветик яблоня
По улице идет!

Круг моей жоны хоровод сплели. Жона в полном удовольствии.

Цветами дорогу устилает, яблоками всех одаривает, ноженькой притопнула и звонким голосом запела:

Уж вы, жоночки-подруженьки,
Сватьи, кумушки,
Уж вы, девушки-голубушки,
Время даром не ведите,
К огороду вы подите,
На огородном на краю
Растет-цветет ново дерево,
Ново дерево — нова яблоня.
Станьте перед яблоней, улыбнитеся,
Оденет вас яблоня и цветом и яблоками!

Такого званья два раза сказывать не надо. Ко мне девки, бабы идут, улыбаются, да так хорошо, что теплый день еще больше потеплел. Все, что росло, что зеленело кое-как, — все полной мерой в рост пошло. Деревья вызнялись, кусты расширились, травки встрепенулись, цветочками запестрели. Вся деревня садом стала, дома как на именинах стоят, и будто их свеже выкрасили.

Девки, жонки на меня дивуются, поахивают.

Коли что людям на пользу, на удовольствие — мне того не жалко. Я всех девок и баб-молодух одел яблонями. За ними старухи: котора выступками кожаными ширкает, котора шлепанцами матерчатыми шлепает, котора палкой выстукивает. А тоже старые кости расправили, на меня глядя, улыбаются. И от старух радостно, коли старухи веселы.

Я и старух обрядил и цветами и яблоками.

Старухи помолодели. Старики увидали, только

крякнули, бороды расправили, волосы пригладили, себя одернули, козырем пошли за старухами с довольными улыбками.

Наша Уйма вся в зеленях, вся в цветах, а по улице фруктовой хоровод.

Яблочное благорастворенье во все стороны понеслось и до городу дошло.

Чиновники носами повели:

— Приятственно пахнет, а не жареным, не пареным, не разобрать, много ли доходу можно взять?

К нам в Уйму саранчой налетели. Высмотрели, вынюхали. И на своем чиновничьем важном собрании так порешили:

— В деревне воздух приятнее, жить легче, на том месте большое согласье, а посему — перенести город в деревню, а деревню перебросить на городское место.

Ведь так и сделали бы! Остановка вышла из-за купцов: им тяжело было свои туши с места подымать.

У чиновников сила в чинах да в печатях: припечатывать, опечатывать, запечатывать. У купцов сила была в капиталах ихних, в местах больших с лавками, лабазами, с домами каменными. Купцы животами в прилавки уперлись, из утроб своих как в трубы затрубили:

— Не хотим с места шевелить себя. Мы деревню и отсюда хорошо обираем. Мы отступного дать не отступимся, а что касается хорошего духу в деревне, то коли его в город нельзя перевезти, надо извести!

Чиновникам без купцов не житье, а нас, мужиков, они во всех деревнях грабить доставали.

Чиновницы, полицейские тоже запах яблоневой услыхали.

— Ах, какие приятственные духи! Ах, надобно нам такими духами намазаться!

К нам барыни-чиновницы, полицейщицы заторопились, которые на извощиках, которые пешком заявились, увидали наших девок, жонок, — у всех ведь оподолье в цветах, оплечье в спелых яблоках. Барыни от зависти разозлились, позеленели и зашипели:

— И совсем не пристало деревенским так наряжаться! Это только для нас подходяще. И где таки нарядности дают, почем продают, с которого конца в очеред становиться? Да мы и без очереда, по нашей образованности и по нашей важности!

А мы живем в саду, в ладу, у нас ни злости, ни сердитости. При нашем согласье печки сами топятся, обеды сами варятся, пироги, шаньги, хлебы сами пекутся.

В ответ чиновницам старухи прошамкали, жонки проговорили, а девки песней вывели:

У Малины в огороде
Нова яблоня цветет,
Нова яблоня цветет,
Всех одаривает!

Барыни и дослушивать не стали. С толкотней, с перебранкой ко мне прибежали, зубы щерят, глаза щурят, губы в ниточку жмут.

На них посмотреть — отвернуться хочется.

Я ногами-корнями двинул, ветвями-руками махнул и всю крапиву с Уймы собрал, весь репейник выдергал. На злыдень городских налепил. Они с важ-

ностью себя встряхивают, носы вверх задирают, друг на дружку не глядят, друг от дружки отодвигаются, чтобы себя не примять, чтобы до городу в сохранности свой вид великолепный донести.

Прибежали попадьи с большущими мешками. Сначала яблоками мешки туго набили, а потом передо мной стали тумбами да копнами.

Охота попадьям яблонями стать — и боятся: а дозволено ли оно, а показано ли? Нет ли тут силы нечистой? У своих попов не спросили — не сдогадались спросить у Сиволдая, — да к нему с пустыми руками не пойдешь.

От раздумчивости у поповских жон рожи стали похожи на булки недопеченные, глаза изюминками, а рты разинутые печеными отдушинами, — из этих отдушин пар со страхом вперемежку так и вылетал.

У меня больше ни крапивы, ни репейника. Собрал я лопухи, собрал чертополох и облепил одну за другой попадью. Попадьи искоса глянули на себя, видят, широко, — значит ладно.

В город поплыли зелеными кучами.

И полицейщицы и чиновницы со всей церемонностью в город заявились. Идут, будто в расписну стеклянную посуду одеты — боятся разбиться. Сердито на всех фыркают. Почему-де никто не ахат, руками не всплескивает и почему малы ребята яблочков не просят?

К знакомым подходят, об ручку здороваются, а знакомые от крапивы и колючего репейника в сторону отскакивают.

По домам барыни разошлись, перед мужьями вертятся, себя показывают, мужей и колют и жгут.

В иных домах ругань да визготня поднялась, да для них это дело завсегдашно, лишь бы не на людях.

Приплыли в город попадьи, а были они многомясы, телом сыты — на них лопухи во всю силу выросли. Шли попадьи каждая шириной во всю улицу. К домам подошли, а ни в калитку, ни в ворота влезть не могут.

Хоть и конфузно было при народе раздеваться, а верхние платья с себя сняли, в домы заскочили.

Бедные люди попадьинные платья себе перешили. Из каждого платья по нескольку вышло.

Попадьи отдышались и пошли по городу трезвонить:

- И вовсе нет ничего хорошего в Уйме. Ихно согласное, ладное житье от глупости да от непониманья чинопочитанья. То ли дело мы: перекоримся, переругаемся — и делом заняты и друг про дружку все вызнали! И скуки не знаем...

Теперь-то городские жители и не знают, каково раньше жилось в городе. Нынче всюду и цветы и дерева. Дух вольготный, жить легко.

Ужо, повремени малость, мы нашу Уйму яблонями обсадим, только уж всамделишными.

БАНЯ В МОРЕ

В бывалошное время я на бане в море вышел.

Пришло время в море за рыбой идти. Все товарищи, кумовья, сватовья, братовья да соседи ладятся, собираются. А я на то время, на тот час убегался, умаялся от хлопот по своим делам да по жониным всяким несусветным выдумкам, прилег отдохнуть всего на одну минутку и заспал, да столь крепко, что криков, сборов и отчальной суматошни не слыхал.

Проснулся, оглянулся — я один из промышленников в Уйме остался. Все начисто ушли, суда все угнали, мне и догонять не на чем.

Не стал долго думать. Столкнул баню углом на воду, в крышу воткнул жердину с половиком: вышла настоящая мачта с парусом. Старую воротину рулем приладил. Баню натопил, пару нагонил, трубой дым пустил.

Баня с места вскачь пошла, мимо городу пароходным ходом да в море вывернулась и мимо наших уемских судов на полюбование все кругами, все кругами по воде вавилоны развела!

У бани всякой угол носом идет, всякая сторона

корма. Воротина — руль свое дело справляет, баня с того дела и заповорачивалась, поворотами большого ходу набрала.

Я в печке помешал, дым пустил, пару прибавил, сам тороплюсь — рулем ворочаю. Баня разошлась, углами воду за версту зараскидывала, небывалую, одноместную бурю подняла. Кругом море в покое, а посередке, ежели со стороны глядеть, что-то вьется, пена бьется, вода брызжется, и дым валит, будто из заводской трубы.

На это глядя — до кого хошь доведись — переполошишься. Со стороны глядеть — похоже и на животину и на машину. Животина страшна, а машина того страшнее.

Рыбы народ любопытный, им все надо знать, а в бане новости завсегда самые свежие, самые новые. Рыбы к бане со всех сторон заторопились.

А мы промышляем.

С судов промышляют по-обнаковенному, по старому заведению. А я с бани рыбу стал брать по-новому, по-банному — шайкой в воде поболтаю, рыба думает: ее в гости зовут — и в шайку стайками, а к бане косяками. Мне и сваливать рыбу места нет: на полок не много накладешь. Стали наши рыбацкие суда чередом да всякое в свою очередь к бане подходить, я шайкой рыбу черпаю, бочки набью, трюма накладу, на палубе выше бортов навалю. Полное судно от бани отходит, другое подходит.

В короткое время все суда полнехоньки рыбой набил. Судно не брюхо, не раздастся, больше меры в него не набьешь. Набрали рыбы, сколько в суда влезло. Остальную рыбу в море на развод оставили.

К дому поворотились груженые суда. Тут я с баней расстался, за дверную ручку попрощался. Домой пошли — я на заднем суденышке сел на корме да на воду муку стал легонько трусить; мука на воде ровненькой дорожкой от бани до нашей деревни, до Уймы легла. Легла мучка на морскую воду, на морском рассоле закисла разом и тестяной дорожкой стала.

За нами следом зима шла, морозом пристукнула, вода застыла, тестяная дорожка смерзлась от середки моря до самой нашей деревни.

Мы в ту зиму на коньках в баню по морю бегали.

Рыбы учуяли хлебный дух тестяной дорожки и по обе стороны сбивались видимо-невидимо, мамаевыми полчищами. Мы в баню идем — невода закидываем, вымоемся, выпаримся, в морской прохладности продышимся, неводы — рыбой полнехоньки — на лыжи поставим. На коньках бежим, ветру рукавицей помахиваем, показываем, куда нам поветерь нужна.

У нас в банных вениках пар не успевал остывать, вот сколь скоро домой доставлялись.

Всю зимушку рыбу в море ловили, а в море рыбы не переловишь.

С того разу и повелись зимние рыбные промыслы. Весной лед мякнуть стал, рыбьи стаи тестяную дорожку растолкали, и понесло ее по многим становищам хорошему народу на пользу.

К весне тесто в море в полну меру выходило. Промышленники в становищах тесто из моря в печки лопатами закидывали. Который кусок пекся караваем, а который рыбным пирогом. И тесто и рыба

были хорошо просолены. Поешь, осолонишься и опосля чай пьешь в большую охоту.

Этому хочешь не хочешь, а поверить надо. С той поры, как баня жаром да паром море нагревать стала, и потепление пошло, и льды пораздвинулись, и зимы легче стали.

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

Вот теперича на Новую Землю ездить стало нипочем. А в старое время, когда мы, промышленники, туда дорогу протаптывали, своими боками обминали, солоно доставалось.

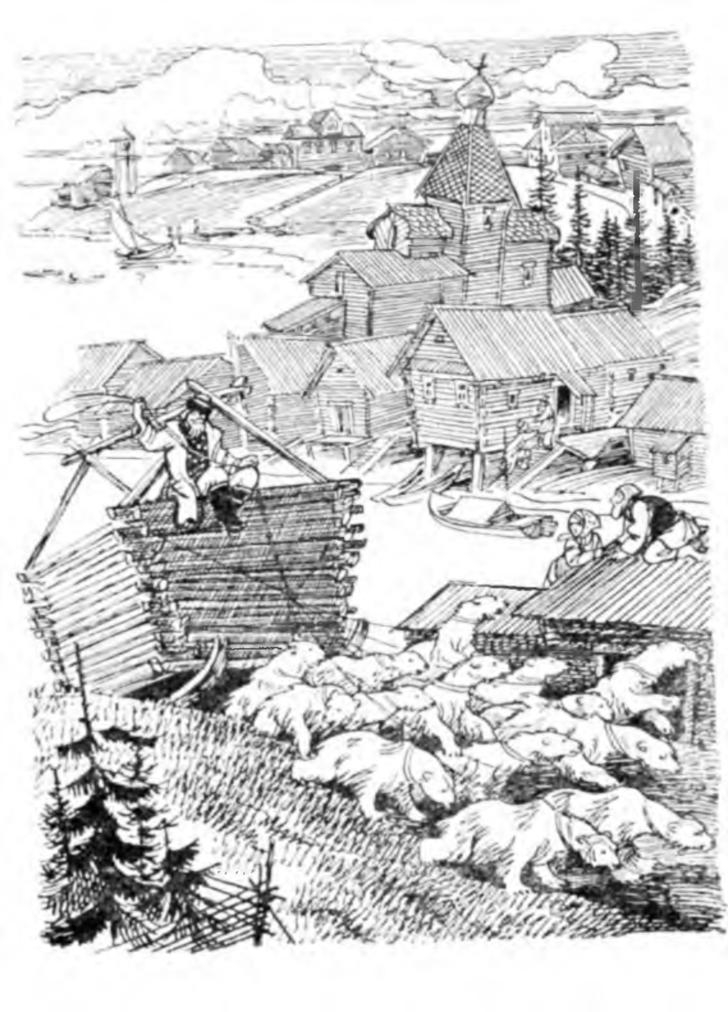
К примеру, скажу о первой попаже на Новую Землю и как белые медведи меня ловили, а я их поймал.

Пришел, значит, пароход к Новой Земле. Меня на берег выкинули. Да как выкинули! От берега далеко остановились, к месту подходу не знали. Чиновник, что начальствовал на пароходе, говорит:

— Нет расчета в опасное место соваться, к берегу подходить, швырнем на веревке, за веревку промыслом заплатит.

Меня веревкой обвязали, размахали да и кинули на берег. Свистком посвистели, дымом, как хвостом, накрылись и ушли.

Остался я один. Кругом голое место, и посередке камень торчит, и всего один. А у берега лесу нанесло множество.



Я веревку за камень прихватил, другим концом давай бревна на берег вытаскивать. И стал дом строить.

Выстал дом уж высоко, только окон да дверей не прорубил — топора не было — да крышей не успел покрыть.

Место, в которое меня с парохода выкинули, медвежье было, проходно для медведей, вроде медвежьего постоялого двора. Белый медведь высмотрел меня и ко мне со всех ног, а мне куда себя девать? Место голое, в дом без дверей да без окошек не скочишь. Я привязался к концу веревки да от медведя кругом камня, а медведь за мной, что сил есть, ухлестывает. Веревка натянулась, я оттолкнулся ногами от земли, меня на натянутой веревке и понесло кругами.

Медведь по земле лапы оттаптывает. Я ногу на ногу закинул, цигарку закурил, дым пустил, медведя криком подгоняю. Мне что, меня выносом несет, я и устали не знаю, сижу себе да кручусь.

Медведь из силы выбился, упал, ему дыханье сперло. Я веревку укоротил, медведя дернул за хвост, в дом бескрышной закинул.

Гляжу — опять медведь. Я и этого таким же ходом прокрутил до уморенья и в дом закинул. Медведи один за одним идут и идут.

Мне дело стало привычно, я и ловлю.

К осеннему пароходу наловил медведей ровно сто!

Чиновник счет-расчет произвел, высчитал с меня и за землю, и за воду, и за всех сто медведей. Мне один пятак дал.

Пятак дал да две копейки с грошем отобрал на построение кабака и говорит:

— Понимай нашу заботу о вас, мужиках. Здесь на пустом месте кабак поставим да попа со звоном посадим. Это когда с вас, мужиков, денег насобираем.

Я знал, что чиновники слушают, только когда им выгода есть. Я и подзадорил чиновника самому для себя медведей ловить. Чиновник до конца и слушать не стал — понял, на наживу обзарился, веревкой обвязался и бегом кругом камня! Я его словом подгоняю:

— Шибче бежи, ваше чиновничество, скоро медведь тебя увидит, за тобой побежит.

Медвежья пора прошла в этом месте.

Чиновник подскочил, веревка натянулась, чиновника высоко вызняла. Заместо медведя наскочил ветрище с грозищой. Я только малость веревку надрезал. Ка-ак рванет чиновника! Веревка треснула...

Унесло чиновника. Над морем пронесло. В Норвегу, в город Варду, да там с громом, с молнией среди города с неба кинуло.

Норвеги в перепуге.

— Что такое? — кричат. — Не иначе, как небесный житель из раю!

Поп норвежский в колокол зазвонил, кадилом замахал и к чиновнику пошел. Прочий народ дожидает дозволения прикладываться к небожителю.

А чиновник наш очухался, огляделся — и как заорет и на попа и на всех норвегов! Те слов не поняли, а догадались, о чем чиновник кричит. Попу говорят:

— Коли таки жители в раю, то мы в рай не хотим!

Норвежский полицейской просмотрел гостя, услыхал винной запах, увидал светлые пуговицы, признал чиновника и говорит:

— Этот нам нужен: чиновники для нас, полицейских, первые помощники, народ в страхе держать да доходы собирать.

Поп норвежский свое кричит:

— Ни в жизнь не отступлюсь, ни в жизнь не отдам этого святого! В нашем поповском деле чиновник нужнее, чем в вашем полицейском. А вам, полицейским, без нас, попов, с народом не справиться. Мы через этого святого большой доход займеем...

Чиновника унесло, мне легче стало. Я дом на воду столкнул. Хорошо, что без окон, без дверей,— вода не зашла. Медведей всех сто запряг и поехал на медведях по морю. Скорее всяких пароходов. Да что пароходы, им надо дорогу выбирать, а я и по воде и по суху на медведях качу. Под дом полозья из бревен наколотил, оно и легко. Дом вот этот самый, в котором сидим. Потрогай рукой, потопай ногой, убедись — настоящий, из заправдашного леса, тронь, и будешь знать, что я правду говорю.

Медведи — ходуны, им все ходу дай. Запряг медведей и поехал по разным городам. За показ деньги брал и живьем продавал. Одного медведя купили для отправки в Норвегу, сказывали, что святой чиновник заказывал купить.

Пожалел я норвегов, что все еще со святым возятся, да подумал: «Натерпятся — сами за ум возьмутся».

БРЮКИ В ВОСЕМНАДЦАТЬ ВЕРСТ ДЛИНЫ

Выспался я во всю силу. Проснулся, ногами в поветь уперся и потянулся легкой потяготой. До города восемнадцать верст, я на все восемнадцать вытянулся, до рынку, до красного ряда, где всякими материями торгуют.

Купцы лавки отворили. Чиновники с полицейскими в лавки шмыгнуть хотели, взять с купцов по взятке, — это для почину, кому сколько по чину. Я руки разминаю после хорошего спанья, чиновников по болотам, по трясинам раскидываю. Полицейские подступиться боятся.

Модницы чиновницы пришли деньги транжирить — мужья не трудом наживали, жонам не трудно проживать. Я топтать себя разрешения не дал, модницам до лавок ходу нет.

Купцы ко мне с поклоном и с вежливым разговором:

— Ах, как оченно замечательно, Малина, что ты чиновников и полицейских по болотам распределил. Они хоть нам и помогают, да умеют и с нас шкуру сдирать. А без модниц мы за выручкой сидим без

выручки. Сколько хочешь отступного за освобождение прохода?

— До денег я не падок, сшейте мне штаны на теперешний мой рост. Рубаху с вас не прошу — домотканую ношу. Мера штанам, пока дальше не вытянулся, восемнадцать верст, на рост прибавьте верст пять.

У купцов брюха подтянулись, рожи вытянулись, покраснели, глаза побелели. Купцы и рады бы полицейских позвать, а полицейские, — которые в болоте барахтаются, которые на задворках от меня прячутся.

Материю собрали, только разную, одинаковой материи в двадцать три версты не было. Штаны сшили восемнадцативерстовые с пятиверстовым запасом. Я рынок освободил: сел у себя на повети. Брюки упали матерчатой горой, всю деревню завалили. На мой рост один аршин с малым прибавком надо.

По жониному зову все хозяйки сбежались с ножницами, с иголками и принялись кроить, резать, шить, петли метать, пуговицы пришивать. В одночасье все мужики, старики и ребята в новые брюки оделись, всем достало. У нас с тех пор ни один мужик, ни один старик без брюк не ходит. Приезжайте, поглядите.

Купцы с нас во все времена тянули, сколько их силы было. Довелось и мне потянуться и с купцов стянуть штаны на всю деревню.

ВЕТЕР ПРО ЗАПАС

Утром потянулся я да — вверх!

У нас в Уйме тишь светлая, безветрая. Потянулся я до второго неба. А там ветряная гулянка, ветряные перегонки. Один ветер — молодой подросток — засвистал, бросился на меня — напугать хотел. Я руки раскинул, охватил ветер охапкой, сжал в горсть, в комок и за пазуху сунул. Сунул бы в карман, да я в исподнем был.

Другие ветры-шалуны на меня по два, по три налетали, силились с ног свалить. А как меня свалишь, коли ноги у меня на повети уперты?

Я молодых ветров игровых, ласковых много наловил. Ветры в лёте, в размахе широки, а возьмешь, сожмешь — и места занимат всего ничего.

Старые ветры заворчали, заворочались, выручать молодых двинулись и на меня бросились один за одним. Я и старые ветры за пазуху склал. Староста ветряной громом раскатился, в меня штормом ударился, я и шторм смял.

Наловил всяких разных ветров: суховейных, мокропогодных, супротивных, попутных. Ветрами полну

пазуху набил. Ветры согрелись, разговаривать стали, которы поуркивают, которы посвистывают, я ворот у рубахи застегнул, пояс подтянул, ветрам велел тихо сидеть, громко не сказываться. Сказал, что без дела никоторого не оставлю.

На поветь воротился, на мне рубаха раздулась, — кабы не домоткана была, лопнула бы. Жона оглядела меня, кругом обошла, руками развела.

— Чем ты разъелся, поперек шире стал?

— Не разъелся, а ветром подбился.

Вытряс я ветры в холодную баню, на замок запер, двери палкой припер. Это мой ветряной запас. Теперь, коли в море засобираюсь сам али соседи, я к судну свой ветер прилаживаю. Со своим ветром попутным ходим мы теперь скорее всяких пароходов. В тиху погоду ветер к мельничным размахам привязываем, ветром белье сушим, ветром улицу чистим и к другим разным домашностям приспособливаем. У нас ветер малых ребят в люльках качает, про это и в песне поют.

В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.

Распознал про это поп Сиволдай, прибежал, запыхался, чуть выговаривает:

— Чем ты, Малина, дела устраиваешь, без расходу имешь много доходу? Дакосе мне этого самого приспособления.

У меня в руках был ветряной обрывок, собирался горницу пахать[1], я этот обрывок сунул Сиволдаю.

[1] Пахать — подметать.

— На!

Попа ветром подхватило, на мачту для флюгарки закинуло. Сиволдай за конец мачты зацепился. Ветер озорник попался, не отстает, широку одежу поповску раздул и кружит. Сиволдай что-то трешшит по-флюгарошнему. Долго поп над деревней крутился, нас потешал.

НА УЙМЕ КРУГОМ СВЕТА

Взбрело на ум моей бабе свет поглядеть. Ежедневно мне твердит:

— Хочу круг света объехать, поглядеть на людское житье и где что есть. Да так объехать, чтобы здешних новостей не терять, чтобы тамошно видеть и про здешно знать: кто на ком женится, кто взамуж идет, у кого нова обнова, у кого пироги пекут.

— Баба, ты в город поедешь на полдён — усемских новостей короба накопятся. Тебе все на особину надобно — и тут и там все знать.

— Как сказала — так и делай, от своего не отступлюсь!

Я уже давно вызнал: с моей бабой спорить — время терять и себе одно расстройство.

Запасные ветры сгодились для дела. Я под Уймой в разных местах дыр навертел, в дыры ветров супротивных натолкал. Уйму ветрами вызняло высоко над землей. С высоты широко видать.

Бабы забегали, заспорили, который конец деревни носовой, которой кормовой. Остроносы кричат,

что ихно место на носу, с носу перьве все, все высмотрят, все расскажут.

Попадья со сватьей Перепилихой в большой спор взялись, чуть не в драку — которой кормой быть. Попадья кричит:

— Толше меня нет никого, про меня все говорят: шире масленицы. Я и буду кормой!

Перепилиха не отступает, на весь свет кричит:

— Я шире всех, на мне больше всех надевано, я буду кормой, я буду Уймой в лёте править!

Чтобы баб угомонить, я под Уйму с разных концов сунул и встречные ветры, они один против другого и держат деревню па одном месте. У деревни все стороны носовы — кормовы, со всех сторон вперед гляди.

Уйма на ветрах на одном месте остановилась, а земля свой ход не менят, под нами поворачивается.

Мы на одном месте стоим, у нас и день прошел чередом, и вечер череду отвел, и ночь стемнела, и обутрело — и опять до полден. А земля под нами полным ходом идет, и на ней всю пору полдень, все время обеденное. Земля нам разные места показывает в полной ясности.

На ветряном держанье, с места не сходя, мы весь свет объехали. Сверху высмотрели житье-бытье в других краях. Сверху больше видать, чем земным ездокам, сверху-то все понятнее.

Много стран оглядели, а жить нигде не захотели, окромя нашей Уймы. Наш край и в старое время был самолучшим, кабы не полицейские да чиновники.

С попом Сиволдаем и с урядником особое дело

вышло, они ничего не видели, ничего не понимающими и остались.

Сиволдай услыхал, что Уйма колыхнулась и с места шевеливаться стала, от страху в колодец скочил и сел на дно. Воду из колодца на тот час всю на огороды вычерпали, будто по заказу. Урядник по примеру поповскому в другой колодец полез, а колодец с водой был, урядник чуть-чуть не утоп, шашкой в стенку колодца воткнулся, ногами растопырился — таким манером много верст продержался. А все ж где-то над чужой стороной вода из колодца выпала, урядника выплеснуло.

Завсегда говорят: не плачь — потерял, не радуйся — нашел. Мы потеряли и не оглянулись, куда урядника выкинуло: от нас далеко — нам и любо. Обрадовались ли там, где нашли, об этом до нас вести не дошли. На месте колодца осталось одно ничего, а на нем мокрое место, а на мокром месте поп Сиволдай сидит, от страху дыхнуть боится.

Мы сутки не спали, во все глаза глядели.

Видели разные всякие страны, видели разных народов. У всякого народа своя жизнь. Над всякими народами свой царь либо король сидит и над народом всячески изгиляется, измывается. Народным хлебом цари, короли объедаются, на народную силу опираются, народ гнетут. А чтобы народ в разум не пришел, чтобы своих истязателей умными и сильными почитал, цари, короли полицейских откармливают и на народ науськивают. Разномастных попов развели, попы звоном-гомоном ум отбивают, кадилами глаза туманят. Непонимающий народ отпору не дает, думает — так и надо.

Как мы это усмотрели да в толк взяли, в такую ярость взошли, что кабы не так высоко мы были, кабы наши руки дотянулись, — мы бы разом всех царей, королей прикончили, да в те поры у нас руки были коротки.

Бабы пробовали кричать народам, растолковать хотели, чтобы в работе на царей не потели, а работали бы для себя. Да опять-таки дело не вышло — мы на разных языках говорили. Тогда у нас обшого языка не было.

Тетка Бутеня пойло свиньям месила и не стерпела — в одного царя злого, обжористого шваркнула всем корытом и с пойлом.

Корыто вдребезги, и царь вдребезги.

Сбежались царские прихвостни и разобрать не могут, которое царь, которое свинская еда.

Другие хозяйки не отстатчицы, давай в королей, царей палить всем, чего хуже нет.

Ученые собирали все, что в царей попадало, обсуждали и в книгах писали: из чего небо состоит. Нашу Уйму за небесную твердь посчитали. Те ученые про небо всякие небылицы плели, и настоящей сути небесной не знали.

С той самой поры наша деревня понимающей стала. И начальство полицейское, поповское нам ничем и ни к чему стало.

Сиволдай да урядник ничего не видели, так темными и остались. От урядника мы избавились, а Сиволдая просто без внимания оставили.

Перепилиха с попадьей во все стороны глядели, а ругаться не переставали. Попадья ругалась, кру-

тилась, подолом пыль подняла — силилась всем попадьям чужестранным пыль в нос пустить.

Перепилиха заверещала голосом пронзительным, на целом месте дыру вертеть стала. Мелкой крошеной землей да крупной руганью отборной царских, королевских чиновников здорово обсыпала.

Пропилила Перепилиха сквозную дыру. Обе ругательницы зараз и провалились.

Это было в остатнем пути земельного поворота. Перепилиха и попадья упали в наш город, на рынок, в самую середину.

В рынке тесно стало. Торговки удивились, устрашились, замолчали. До этого раза молчаливых торговок мы не видывали. Которая торговка язык остановить не могла, та руками рот захлопнула.

Прилетные гостьи сначала вперебой, а потом обе в один голос стали рассказывать, какие страны, каких народов видали, где во что одеваются, где что едят. А потом, как путевые, заговорили про царей, королей. Рассказали, какой они силой держатся. И коли народ за ум возьмется, вместях соединится, то всех живодеров-обдиралов в один счет стряхнет с себя.

За эдакие беспокойные неподходящие слова чуть не заарестовали говоруний. Начальство так объявило: говорят не от своего разуму. Надобно вызнать, каким ветром в Перепилиху, в попадью такого понима́нья надуло.

Все начальство большое и малое переполошилось.

К концу суткам и конец путешествия пришел, Уйма на свое место села. И сейчас на том месте.

Можете проверить — сходить али съездить поглядеть.

Поп Сиволдай из колодца только успел выскочить — колодец чистой водой налился.

Мы полдничать сели, к тому череду поспели.

По дороге пыль поднялась, больше да шире, больше да ближе. До деревни пыль докатилась — это чиновники из городу после Перепилихиной да попадьевой трескотни прибежали, бумагами машут, печатями страх нагоняют, требуют штраф, налог, а и сами не знают за что про что?

Мы уже понимали: чиновники мундирами да пуговицами страшны. Мы всей деревней на них гаркнули. Чиновничишки подобрали мундиришки, бумагами прикрылись, печатями припечатались, мигом улепетнули.

В городу губернатору докладывали:

— Деревня Уйма сбунтовалась. Ни за что ни про что денег платить не хочет! На нас, чиновников, непочтительно страховидно гаркнула вся деревня разом. Кабы мы не припечатались — из нас дух бы вылетел! Ваше губернаторство, можете проверить — от Уймы до городу наши следы остались.

Губернатор свежих чиновников собрал, полицейских согнал, к нам сам в коляске припылил. Из коляски не вылезат, за кучера полицейского уцепился, сам трепещется и петухом кричит:

— Бунтовщики! Деньги несите, налоги двойные платите, деньги соберу, арестовывать начну!

Вытащил я штормовой ветрище. Мужики помогли раздернуть прямь губернатора, прямь чиновников. Раздернули да дернули! А он, ветер штормовой,

так рванул губернатора с коляской, чиновников с бумагами и печатями и с полицейскими, — как их и век не было!

После того начальство научилось около нас на цыпочках ходить, тихо говорить.

Да мы их тихие подходы хорошо знали.

Штормовые ветры у нас наготове были — и пригодились.

ЗЕЛЕНАЯ БАНЯ

Запонадобилась мне новая баня, у старой зад выпал, да пол провалился, дверь отскочила, окна вывалились, печка рассыпалась. За сосновым али еловым лесом ехать далеко. А тут у нас наотмашь за деревней, на сыром месте ивы росли, я их и срубил, четыре столба сваями под углы вбил, поставил баню всю нову. Да в свежу нову мыться пошел. Баню жарко натопил.

Вот моюсь да окачиваюсь, а про веник позабыл.

— Охти мне, как же париться без веника!

Отворил дверь из бани, глянул, а баня высоко над деревней.

Умом раскинул и в раздумье пришел: ивовые столбы от теплой воды проросли да и выросли дерёвами и вызняли меня в поднебесную, да и вся баня зеленью взялась. Я от стен да от косяков дверных ивовых веток свежих наломал, веник связал. И так это я в полную меру напарился!

Из бани вышел, жена догадалась лесенку приставить.

А банный пар из бани тучей тяжелой выпер, поостыл да дождиком теплым и пал.

Это дело я стал в уме держать.

Вот стало время жарко-прежаркое, а без дождя. Хлеба да сена почали гореть.

Вижу — поп Сиволдай на свой промысел вышел: с конца деревни обход начинат, кадилом машет и вопит во всю глотку:

— Жертвуйте мне больше, я вам дождь вымолю!

Я забежал с другого конца деревни и тоже заорал, да свое:

— Не давайте Сиволдаю ни копейки, ни гроша! Я вам дождик через баню достану, приходите, кому париться охота!

Баню натопил самосильно. Старики да старухи у банной лесенки стабунились, дожидают моего зову в баню карабкаться. Я велел им стать чередом парами и здыматься по две пары париться.

А я парю — хвощу да пар поддаю. Старье только покряхтывает от полного удовольствия.

Как отпарю две пары — на веревки вниз опущу. Двери банные настежь отворю, пар стариковский толстой тучей выйдет. А родня стариков, что парились, подхватит тучу вилами да граблями и волокут на свое поле. Там туча поостынет и дождем теплым падет.

Столько от того дождя наросло, что сами прокормились и всю округу прокормили.

НАЛИМ МАЛИНЫЧ

Было это давно, в старо, прежне время.

По зиме празник был. На Соборной площади парад устроили. Солдатов нагнали, пушки привезли, народ сбежался.

Я пришел поглядеть.

От толкотни отошел к угору, сел к забору — призадумался. Пушки в мою сторону поворочены. Я сижу себе спокойно — знаю, на холостую заряжены.

Как из пушек грохнули! Меня как подхватило, выкинуло! Через забор, через угор, через пристань, через два парохода, что у пристани во льду стояли! Покрутило да как об лед ногами (хорошо, что не головой)! Я лед пробил и до самого дна дошел. Потемень в воде. Свету толико что из проруби да скрозь лед чуточно сосвечиват.

Ко дну иду и вижу — рыба всякая спит. Рыбы множество. Чем глубже, тем рыба крупнее.

На самом дне я на матерущего налима наскочил. Спал налим крепкой спячкой. Разбудился налим и спросонок к проруби. Я на налима верхом скочил, в прорубь выскочил, на лед налима вытащил. На мо-

розном солнышке наскоро пообсох, рыбину под мышку и прямиком на Соборную площадь.

И подходящий покупатель оказался. Протопоп идет из собора. И не просто идет, а передвигает себя. Ножки ставит мерно, будто шагам счет ведет. Что шаг, то пятак, через дорогу гривенник. Сапожками скрипит, шелковой одежой шуршит.

Я подумал: «Вот покупатель такой, какой надо». Зашел протопопу спереду и чинный поклон отвесил.

Увидел протопоп налима, остановился и проговорил:

— Ах, сколь подходяще для меня налим на уху, печенка на паштет. Неси рыбину за мной!

Протопоп опять ногами шевелить стал и с таким видом, будто что шаг, то пятак, через дорогу гривенник. Ногам протопоп скорости малость прибавил — ему охота скорее к налимьей ухе. Дома мне за налима рупь серебряной дал, велел протопопихе налима в кладовку снести.

Налим в окошечко выскользнул и ко мне. Я опять к протопопу. Протопоп обрадел.

— Кабы еще такую налимину, в полный мой аппетит будет!

Опять рупь дал, опять протопопиха в кладовку вынесла. Налим тем же ходом в окошечко — да и опять ко мне.

Взял я налима на цепочку и повел, как собачку; налим хвостом отталкивается, припрыгиват — бежит.

На транвай не пустили — кондукторша требовала бумагу с печатью, что налим не рыба, а охотничья собака.

Мы и пешком до дому доставились.



Дома в собачью конуру я поставил стару квашню с водой и налима туда пустил. На калитку налепил записку: «Остерегайтесь цепного налима».

Чаю напился, сел к окну покрасоваться, личико рученькой подпер и придумал нового сторожа звать Налим Малиныч.

ПИСЬМО МОРДОБИТНО

Вот я о словах писаных рассуждаю. Напишут их, они и сидят на бумаге, будто не живые. Кто как прочитает. Один промырчит, другой проорет, а как написано, громко али шепотом, и не знают.

Я парнем пошел из дому работу искать. Жил в Архангельском городе, в немецкой слободе, у заводчика одново на побегушках.

Прискучила мне эта работа. Стал расчет просить. Заводчику деньги платить — нож острый. Заводчик заставил меня разов десять ходить, свои заработанные клянчить. Всего меня измотал заводчик и напоследок тако сказал:

— Молод ты за работу деньги получать, у меня и большие мужики получают половину заработка, и то не на всяк раз.

Я заводчику письмо написал.

Сижу в каморке и пишу. Слово напишу да руками придержу, чтобы на бумаге обсиделось одним концом. Которое слово не успею прихватить, то с бумаги палкой летит. Я только в сторону увертываюсь. Горячие слова завсегда торопыги.

Из соседней горницы уже кричали:

— Малина, не колоти так по стенам, у нас все валится и штукатурка с потолока падает.

А я размахался, ругаюсь, пишу — руками накрепко слова прихватываю, один конец на бумагу леплю, а другой — для действия. Ну, написал. Склал в конверт мордобитное письмо, на почту снес.

Вот и принесли мое письмо к заводчику. Я из-за двери посматриваю.

Заводчик только что отобедал, сел в теплую мебель, — креслой прозывается. В такой мебели хорошо сидеть, да вставать из нее трудно.

Ладно. Вот заводчик угнездился, икнул во все удовольствие и письмо развернул. Стал читать. Какое слово глазом поднажмет, то слово скочит с бумаги одним концом и заводчику по носу, по уху, а то и по зубам!

Заводчик из теплой мебели выбраться не может, письмо читает, от боли да от злости орет. А письмо не бросает читать. Слова — всякое в свой черед — хлещут!

За все мои трудовые деньги я ублаготворил заводчика до очуменности.

Губернатор приехал. Губернатор в карты проигрался и приехал за взяткой.

Заводчику и с места сдвинуть себя нет силы, так его мое письмо отколотило. Заводчик кое-как обсказал, что вот письмо получил непочтительное, и кажет губернатору мое письмо.

Губернатор напыжился, для важного виду ноги растопырил, глазищами в письмо уперся — читает.

Слово прочитает, а слово губернатора по носу!

Ох, рассвирепел губернатор!

А все читает, а слова все бьют и все по губернаторскому носу.

К концу письма нос губернаторской пухнуть стал, распух шире головы. Губернатор ничего не видит, окромя потолока. Стал голову нагибать, нагибал-нагибал, да и стал на четвереньки. Ни дать ни взять — наш Трезорка.

Под губернатора два стула подставили. На один губернатор коленками стал, на другой руками уперся и еще схожее с Трезоркой стал, только у Трезорки личность умнее.

Губернатор из-под носу урчит:

— Водки давайте!

А голос глухой, словно из-за печки. Принесли водки, а носом рот закрыло. Губернатор через трубочку водки напился и шумит из-под носу:

— Расстрелять, сослать, арестовать, под суд отдать!

Орет приказы, выкрикивает без череду: сперва надо узнать, кто писал, и заарестовать, а опосля уж все остальное.

Взятку губернатор не позабыл — взял. В коляску на четвереньках угромоздился, его половиками прикрыли, чтобы народ не видал, насмех не поднял.

Заводчик губернатора выпроводил, а сам в хохот: любо, что попало не одному ему.

Письму ход дали.

Вот тут я в полном удовольствии был!

Дело в суд. Разбирать стали. Я сидел посторонним народом любопытствующим. Судья главный ста-

рикашка был, стал читать письмо, — ему и двух слов хватило. Письмо другому судье отсунул:

— Читай, я уж сыт.

Второй судья пяток слов выдержал и безо всякого разговору третьему судье кинул. У третьего судьи зубы болели, пестрым платком завязаны, над головой концы торчат. Стал третий судья читать, его по больным зубам хлестким словом щелкануло. Зубы и болеть перестали, он и заговорил скоро-скоро, забарабанил:

— Оправдать, оправдать! На водку дать, на чай дать, на калачи дать! И еще награду дать!

А ведь я чуть-чуть не крикнул:

— Мне, мне! Это я писал!

Однако догадался смолчать. Суд писанье мое читает, а с кого взыскать, кого за письмо судить — не знает, до подписи не дочитались. Судейских много набежало, и всем попало — кто сколько выдержал слов. Одначе до конца ни один не дочитал. Кабы поумнее были, сдогадались бы письмо в отдалении поставить и читать через трубу дальнозорну.

Дали письмо читать сторожу, а он неграмотный — простой человек, не битым и остался.

Письмо в Петербург послали всяким петербургским большим начальникам читать. Этим меня очень уважили. Ведь мое мордобитное письмо не то что простым чинушам, самим министерам на рассуждение представили, и оно по их министеровским личностям отхлестало за весь рабочий народ!

Чиновники хорошему делу ходу не дали. Подумайте сами, люди добрые, какое важное изобретенье прихлопнули!

А я еще придумал. Написал большую бумагу, больше столешницы. Сверху простыми буквами вывел:

«Читать только господам».

Дальше выворотны слова пошли.

Утресь раным-рано, до чиновничьего ходу на службу, — в то время городовы пьяных добивали, у них деньги отбирали, — я бумагу повесил у присутственных мест, стал к уголку, будто делом занят, и дожидаюсь.

Вот время пришло чиновникам идти, пошли чиновники, видят на бумаге большие буквы:

«Читать только господам».

Это, значит, их зовут читать.

Подойдут чинуши да чины, глаза в бумагу вперят и читать начнут, а с бумаги — ка-ак двинет крепким словом! А много ли чиновникам надобно было? С ног валятся, на службу раком ползут, охают, ахают.

А которые тож додумались: саблишки вытащили и машут!

Да коли не вырубить топором писанного пером, то уж саблишкой куды тут размахивать!

Позвали пожарную команду и водой смыли мое писанье и мою подпись. Так и не вызнали, кто писал, кто словом чиновников приколотил.

Потом говорили, что в Петербург до подписи тоже не дочитали и письмо мое за городом всенародно расстреляли.

БЕЛУХА

Сидел я у моря, ждал белуху. Она быть не сулилась, да я и ждал не в гости, а ради корысти. Белуху мы на сало промышляли.

— Да ты, гостюшко, не думай, что я рыбу белуху дожидался, нет, другую белуху, которая зверь и с рыбиной не в родстве.

Так вот сижу, жду. По моим догадкам, пора быть белухину ходу. Меня товарищи артель караулить послала. Как заподымаются белые спины, я должен артели дать знать.

Без дела сидеть нельзя. Это городские жители, бывало, без дела много сиживали, время мимо рук пропускали, а потом столько же на оханье тратили: «Ах, да как это мы недосмотрели, время упустили, мимо носу, мимо глазу пропустили! Да кабы знатье, кабы ум в пору!»

Я сидел, два дела делал: на море глядел, белуху ждал да гарпун налаживал.

Берег высокий, море глубоко; чтобы гарпун в воду не опустить, я веревкой от гарпуна обвязался и работаю глазами и руками.

Море забелилось!

Белуха пришла, играет, белые спины выставляет, хвостами фигурными вертит.

Я в становище шапкой помахал, товарищам знать дал. Гарпуном в белушьего вожака запустил и попал!

Рванулся белуший вожак и тем рывком сорвал меня с высокого берега в глубокую воду. Я в воду угрузнул, мало не до дна. Кабы верст на пять в этом месте море было мельче, я мог бы о какую ни на есть подводность головой стукнуться, а на́ глуби-то я только отфыркнулся.

Все белушье стадо поворотило в море в голоменье — в открытое место значит — от берега дальше.

Белухи выскакивают, спины над водой выставляют, мне то же надо делать. Люби не люби — чаще заглядывай, плыви не плыви — чаще над водой выскакивай!

Я плыву, я выскакиваю да над водой спину выгибаю.

Все белые, я один черный. Я нижнее белье с себя стащил, поверх верхней одежи на себя натянул. Тут-то я по виду взаправдашной белухой стал; то над водой спину покажу, то ноги сложу и бахилами на манер хвоста вывертываю. Со стороны глядеть — у меня от белух никакого отличья нет, ничем не разнился, только весом меньше; белухи — пудов на семьдесят, а я своего весу.

Пока я белушьи фасоны выделывал, мы уж много дали захватили, берег только темнел краешком.

Иностранные промышленники на своих судах досмотрели белуху, а меня не признали; кабы признали меня, заприметили бы — подальше бы увернулись. Иностранцы в наших местах безо всякого дозволенья промысел вели. Они вороваты и увертливы.

Иностранцы погнались за белухами. Я в воде булькаю и раздумываю: настигнут, в спину гарпун влепят.

Я кинул в вожака запасной гарпун; и теперь двумя веревками от гарпунов — линями — на мелкое место правлю. Мы-то, белушье стадо, значит, проскочили через мель, а иностранцы с полного разбегу на судах своих на мели застопорились.

Я вожжи натянул и к дому повернул. По морю туман растянулся и толсто лег на воду.

Чайки в тумане летят, крылами шевелят, от чаячьих крыльев узор остался в густоте туманной. (Те узоры я в память взял, потом нашим бабам, девкам обсказал.

И ныне наши вышивки, наши кружева всем на удивленье!)

Я ногами выкинул и на тумане «мыслете» написал. Так «мыслете» и полетело к нашему становищу. Я дальше ногами писать принялся и отписал товарищам:

«Други, гоню стадо белух, не стреляйте, сетями ловите, чтобы мне поврежденья не сделать».

Артель мое письмо на тумане разобрала. Живо приплыли.

Мы с промыслом управились. Туман ушел. А иностранцы перед нами на мели сидят.

Вот иностранцы и забоялись, что мы их в город по начальству представим. Бывало, начальство, чиновники всякие умели грабить. Мы раньше-то и лето и зиму промышляли, а жили — едва ноги тянули, все начальство отымало.

Кабы иностранцев остановил чиновник какой на пароходе проходящем, — другая статья — им и охать не пришлось бы. Чиновники, в одиночку, за ром, за виску какое хочешь угожденье иностранцам делали.

Иностранцы с судов голосят, выкуп сулят. Нам чужого не надо, мы народ трудовой, нам наше отдай. Взяли у иностранцев промысел, который в нашей воде добыт.

А чтобы не налетел чиновник да чтобы нас не ограбил, мы иностранцев освободили.

Мы море раскачали!

Рубахами, шапками махали-махали. Море сморщилось, и волна пошла, и валы поднялись, и белые гребешки побежали, вода стенкой поднялась и смыла иностранные суда, будто слизнула с мели.

Иностранцы обрадовались, что от ответу избавились, нам кричат:

— Русишь бра, много бра!

Это значит: русски добры, очень добры.

Мы им в ответ свое слово:

— Ладно, убирайтесь, вперед не попадайтесь, чтобы добротой своей мы не поломали ваших костей, от нашой доброты надорвете животы!

Промысел у нас остался богатый.

КИСЛЫЕ ЩИ

Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыми щами, — это квас такой бутылошной, ты, поди, и не слыхал про квас такой. Скоро и званья не останется от этого названья.

Всеместно варили кислые щи, а против наших уемских никому не выстоять. В нашей Уйме кислые щи были первеющи и такой крепости, что пробки пулями выскакивали из бутылок.

Я вот, охотник, на белку с кислыми щами завсегда хожу. Подслаблю пробку, белку высмотрю и палю. И шкурка не рвана, очень ладно выходит.

Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу — волки обступили! Глазищами сверлят, зубищами щелкают по-страшному.

А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми щами.

Ну, я пробки поослабил и кислыми щами в волков — да по мордам, да по глазам!

Кислощейной пеной едучей волкам глаза залепило. Вот волки закружились, визгом взялись, крутятся, кувыркаются, всякое соображение потеряли.

Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал — и в город. На рынке продал живьем для зверинца.

Один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил, нашел бутылку с кислыми щами — это я оборонил, — хватил бутылку зубами, а пробка вырвалась и в волка! Кислые щи — в волка!

И так его зарядило и так волком выпалило из лесу, что его в город кинуло!

А на углу Буяновой улицы у «Золотого якоря» — такой большой трактир был, тут истуканствовал городовой полицейский, он в то время пасть свою раскрыл — орал дико на проходящих.

Волк со всего маху городовому в пасть!

Летел волк вперед хвостом, так и застрял в пасти городового. Оттуда и лает на проходящих купцов, за карманы, за руки хватает, всякое добро из рук отымает, из карманов вытряхивает...

Сколько всяких делов у нас с этими кислыми щами было! Всего не пересказать.

Да вот птицы.

День был светлый, теплый, сидел я около дома, с соседом хороший разговор говорил, собирался соседа кислыми щами угостить. Кислые щи посогрелись, пробку вытолкнули и выфыркнули на полтора километра.

Вороны не проворонили, налетели кислы щи пить. Гляжу — ястреб норовит какую ни на есть ворону сцапать.

— Ах ты, — говорю, — полицейская грабитель-

ская птица, не дам тебе ворон изобижать. Ворона — она птица обстоятельная, около дому приборку делает.

Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. Ну, известно, наповал.

Это еще что. Орел налетел! Высоко стал над деревней и высматривает. И приметил-таки, что моя баба коров на поветь загнала — три коровы — и доить стала. На повети и две телки были.

Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял, и понес, и понес с коровами, с телками и с бабой моей.

Я хватил бутылку кислых щей, гвоздь барочной в пробку вбил да и стрелил в орла из бутылки.

Гвоздем орла-то проткнуло!

Орел в остатнем лете вернул-таки поветь и с коровами, и с телками, и с бабой. На те же сваи угодил, малось скособочил.

Думаешь, вру? Пойдем, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в одну сторону кривовата.

С чиновником оказия вышла, все из-за кислых щей.

Прискакал к нам чиновничишка-сутяга и почал стращать, запугивать:

— Сейчас пойду неполадки найду. Протокол составлю, штраф платить заставлю!

Давай ему того и другого и щей кислых бочонок. Наши хозяйки бочонок притащили, обручи поослабили и в тарантас под чиновника и сунули.

Чиновничишка на бочонок плюхнулся, напыжился, придумыват, что бы еще стребовать.

Пиво — кислые щи согрелись, бочка разорвалась, как пушка выпалила!

Чиновника выкинуло столь высоко, что через два дня только воротило.

Кислые щи пеной взялись, пол-Уймы пеной закрыло. Хорошо, что половину, — другая пол-Уймы нас откопала. Пену кислощейную лопатами на реку бросали.

По реке — что твой ледоход пошел. На пять ден всякое пароходное продвиженье остановилось.

А рыбы пеной этой, и сытной и хмельной, наелись и такие жирны стали, что нырять силы не было, так по верху воды и плавали.

Мы рыбу голыми руками ловили.

А птицы столько рыбы поели, что сами ожирели; от жиру пешком ходить стали. Мы птиц голыми руками имали.

И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других, которых у нас и вовсе нет.

И были бы мы первеющими богатеями, да чиновники нас грабили.

МИНИСТЕР НА ОХОТЕ

Пошел я на охоту, еды всякой взял на две недели. По дороге присел да разом все и съел. Проверил боевые припасы, — а всего один заряд в ружье. Про одно помнил — про еду, а про другое позабыл — про стрельбу.

Ну, как мне, первостатейному охотнику, домой ни с чем идти?

Пережидал до утра.

Утром глухари токовать почали, сидят это рядком. Я приладился — застрелил.

И, знаешь, сколько? Пятнадцать глухарей да двух зайчиков одной пулей. Пуля еще дальше летела — да в медведя, он к малиннику пробирался.

Медведя, однако, не убило, с испугу медвежья болезнь началась — чувства потерял. Я медведя хворостинами прикрыл, стало похоже на муравейник и вроде берлоги.

Глухарей да зайцев в город свез, на рынке продал.

А в город министер приехал.

Охота ему на медведя охоту сделать.

Одиновы министер уже охотился, сидел он в вагоне, у окошка за стенку прятался.

Медведя к вагону приволокли, стреножили, намордник надели. Ружье на подпорку поставили.

Министер-охотник за шнурочек из вагона дернул да со страху на пол повалился. А потом снимался с медведем убитым. В городу я карточку видел.

Министер был пудов на двенадцать, как раз для салотопенного завода.

Вот этому «медвежатнику» я медведя и посватал. Обсказал, что уже убит и лежит в лесу.

Всех фотографов и с рынку и из городу согнали неустрашимость министеровску сымать.

К медведю прикатили на тройках. Министер в в троечный тарантас один едва вперся. Вот приехал в лес.

Взгромоздился министер на медведя и кричит:

— Сымайте!

Я медведя скипидаром мазнул.

Медведь взревел диким ревом, да как скочит!

Министера в муравьиную кучу головой ткнуло. Тут и мы, мужики и фотографы городские, и прихвостни министеровски — все впокаточку от хохоту, и ведь цельные сутки так перевертывались: чуть передыхнем, да как взглянем — и сызнова впокаточку.

А медведь от скипидару да от министеровского реву, от нашего хохоту перепугался так, что долго наш край стороной обходил.

На карточках такое было снято, что и сказывать не стану.

С той поры как рукой сняло: перестали министеры к нам на охоту приезжать.

УГОЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО

Запонадобилось моей бабе уголье и чтобы не покупно, а своежжено. Я было попытал словом оттолкнуться.

— Не ребята у нас, хватит с нас, ребята будут — сами добудут.

Баба взъершилась. На всякие лады, на всякие манеры меня изругала.

— Семеро на лавке, пять на печи, ему все еще мало!

Я от шума, от жониной ругани дальше. Из избы выбрался, сел, подумал о работе и разом устал. Отдохнул, про работу вспомнил — опять устал. Так до полдён от несделанной работы отдыхал.

Время обеденно, жона меня кличет:

— Старик, уголье нажег уже?

— Нажгу ужо!

За подходящим материалом надо в лес идти, а мне неохота; я осиннику наломал, — тут под рукой рос, — кучу наклал, зажег. Горит, чернеет, а не краснеет. Какое такое дело? Водой плеснул, в руки взял — железо. Я из осинника всяких штук хозяй-

ственных настрогал: и самоварову трубу, и кочергу, и вьюшки, заслонки, и чугунки, и ведра, лопату, ухваты, — ну всякую полезность обжег, жене принес, думал — будет довольна. А жона обновки угольно-железные заперебирала, языком залопотала:

— Поди скорее, старик, нажги, принеси: щипцы, грабли да вилы, железной поднос, на крышу узорный обнос, сковородки, листы да гвоздей не забудь, новые скобы к избяным и к банным дверям, да флюгарку с трещеткой, обручи на ушат, рукомойник, лоханку, пуговицы к сарафану, пряжки к кафтану. Я отдохну, снова придумывать начну. Иди жги, поворачивайся!

Я свернулся поскорее, пока баба не надумала чего несуразного. Наделал все по бабьему говоренью, нажег, к избе приволок. Все очень железное и очень угольное.

Кабы тещина деревня была на этом берегу, ушел бы, там чаю напился бы, блинов, пирогов, колобов наелся бы. И так всего, о чем подумал, захотел, что придумал мост через реку построить к теще — в гости идти по тому мосту.

Обжег большущую осину, со столб ростом. Столб этот в берег вбил, начало мосту сделал. Сел около, соображаю: какой меры, какого виду штуки для моста обжигать?

Анжинер царской налетел на меня, криком пыль поднял:

— По какому полному праву зачал мост строить, когда я, анжинер казенный царской, плана еще не составил и денег на постройку не пропил? Строить перестать, столб убрать!

Я ему в ответ:

— Не туго запряжено, можно и вобратно повернуть, а столб дергать мне неохота.

Столб-то хоть и из осины, да железный, его не срубишь, нижний конец в земли корни пустил, его не выдернешь. Бились-бились, отступились.

Весной столб Уйму спас.

Вот как дело было. Вода заподымалась, берег заподмывался. Гляжу — дело опасное, Уйму смоет и на другое место унесет. На новом необсиженном месте ловко ли сидеть будет? Я Уйму веревкой обхватил, к столбу прихватил накрепко.

Наша Уйма вся была в одном месте, домы кругом стояли. Из окошек в окошки все было видать — у кого что делают, кто что стряпает, варит. Бывало, кричат через улицу: «Марья, щти кипят, оттащи от огня». Другая кричит: «Дарья, тащи пироги, смотри пригорят!» Согласно жили. Все у всех на виду.

Водой Уйму подмыло и с места сдернуло! Повернуло к морю. Веревка на месте удержала. Уйма по берегу в ряд вытянулась. Так и до сегодня стоит. Не веришь — сходи проверь.

КАК УЙМА ВЫСТРОИЛАСЬ

Был я в лесу в самую раннюю рань, день чуть зачинался. Дождик веселый при солнышке цветным блеском раскинулся.

Это — друг-приятель мой, дождь урожайный, хорошего утра проспать не хотел.

Дождик урожайный, а мне посадить нечего, у меня только топор с собой. Ткнул я топор топорищем в землю.

И-и, как выхвоснулся топор!

Топорище тонкой лесинкой высоко вверх выкинулось. Ветерком лесинку-топорище во все стороны гнет. А топор — парень к работе напористый.

Почал топор дерева рубить, обтесывать, хозяйственно обделывать, время понапрасну не теряет.

Я от удивленья только руками развел, а передо мной по лесной дороге избы новосрубленные рядами выстраиваются. Избы с резными крылечками, с поветями. У каждой избы для колодца сруб и у каждой избы своя баня. Бани двери прихлопнули, приучаются тепло беречь.

Я под избенные углы кругляши подсунул, избы легонько толкнул и с места сдвинул.

Домов-обнов длинный черед покатился к нашей деревне.

Деревня наша до той поры мала была — домишков ряд коротенький и звалась не по-теперешнему.

Новые домы заподкатывались. Народ без лишних разговоров домы по угору над рекой поставил рядом, на длинные версты.

С того часу деревню нашу и стали звать Уймой.

Раньше мы, живя в ближности друг с дружкой, привыкли гоститься. В старой деревне мы с конца в конец перекликались, в гости зазывали и на приглашенье скоро отзывались. У нас не как в других местах, где на первый зов кланяются, на второй — благодарят, после третьего зову — одеваются.

В новой деревне из конца в конец не то что не докричишься, а в день и до конца не дойдешь. Мы уж хотели железную дорогу по деревне прокладывать — в гости ездить, транвая в те поры еще не знали.

Для железной дороги у нас железа мало было.

Дело известное — при хотенье будет и уменье.

Мы для скорости движенья на обоих концах Уймы длинные пружины в землю концом воткнули. За верхний конец уцепимся, пружину пригнем. Пружина в обратный ход выпрямится. Тут только отцепись и лети, куда себя нацелил: до середины али до самого конца.

Мы себе подушки подвязывали, чтобы мягко садиться было. Наши уемские для гостьбы на подъем легки.

Уйма выстроилась выставилась. Окнами на реку и на заречье любуется. Стоит красуется, сама себя показывает.

А топор работает без устали. Новые овины поставили, мельницу выстроили...

Потом я топору новый заказ дал: через речки мосты починить, по болотам дощаты переходы перекинуть.

Да, как завсегда в старое время, хорошему делу чиновники мешали.

Проезжали лесом полицейский с чиновником, проезжали в том месте, где топор хозяйствовал. Топор по ним размахнулся, да промахнулся.

Ох, в какую ярость вошли и полицейский и чиновник! Лесинку-топорище сломили, на куски приломали и спохватились:

— Ахти! Охти! Мы поторопились, недосмотрели, с чего началось, от кого повелось, не доглядели, кого штрафовать и сколько взять!

Много жалели о промахе своем чиновник и полицейский.

Топор тоже жалел, что промахнулся, к ихней увертливости не приладился.

Так чиновник и полицейский до самого последнего своего времени и остались неотесанными.

ОГЛУШИТЕЛЬНОЕ РУЖЬЕ

Сказывал кум Ферапонт, — мы его Ферочкой звали, — сказывал про свое ружье: ствол, мол, широченной, калибру номер четыре.

Это что четыре! У меня вот ружье, тоже своедельно, — ствол калибру номер два!

Кабы еще чуть пошире, я бы в ствол спать ложился. А так в нем, в стволе ружейном калибру номер два, я сапоги сушил, провиант носил.

Опосля охоты, опосля пальбы ствол до большой горячности нагревался, и жар в нем долго держался.

В зимние морозы, в осеннюю стужу это было очень к месту и ко времени. От устали отдыхать али зверя дожидать на теплом отводе хорошо. Приляжешь и поспишь часок, другой, третий, как на лежанке.

Чтобы тепло попусту не тратилось, я к стволу крышку сделал.

Выпалю для тепла, крышкой захлопну, и ладно.

Бывало, сплю на теплом ружье, на горячем стволе, а Розка, собачонка, около сторожем бегает, как какой непорядок: полицейского, волка или другого

какого зверя почует, ставень от ствола оттолкнет в сторону, меня холодом разбудит. Ну, я с ружьем своим от всякого врага оборону имею. Мое ружье не убивало, только оглушало, тако оглушительно было.

Раз я дров нарубил, устал, на ружье, на теплый ствол спать повалился.

Лесничий с полицейским заподкрадывались. Рубил-то я в казенном лесу. Розка тихомолком ставень откинула, меня холодом разбудила. Кабы малось дольше спал, меня бы сцапали и с дровами и с ружьем.

Я вскочил, стряхнулся, выпалил из оглушительного ружья, целиться не надо, лишь бы в ту сторону; так хорошо оглушил лесничего с полицейским, что у них отшибло и память и всякое пониманье, а движенье осталось. Я на лесничем да на полицейском, как на заправской паре, дрова из лесу вывез. Оглушенных в деревне на улице оставил, сам в лес воротился. Мне и ответ держать не надо...

С этим оглушительным ружьем я на уток охотился. В самую утрешну рань нашел озерко, а на нем утки плавают, в туманной прохладительности покрякивают, меня не слышат за своими переговорами.

Ружье-то утки видят, таку махину не всегда спрячешь. Видят утки ружье, да в своем утином соображении ствол калибру номер два и за ружье не признают. Это мне даже сквозь туман очень понятно.

Может, утки оглушительно ружье за пароходну трубу сосчитали: труба в отпуску и прогуливает себя по лесу. Утки знают: много разного пустого рядом с толковым в лесу бывает, а трубе не все по во-

де носиться, а захотела у озерка походить. Утки в таком роде раздумывают, по воде разводье ведут, плясом кружатся.

Туман тоншать стал, утки в мою сторону запоглядывали. Я пальнул. Разом все утки кверху лапками перевернулись и стихли. Надо уток достать, надо в воду залезать, а мне не охота, вода холодна. Кабы Розка была, она бы живо всех уток вытащила, да Розка дома осталась.

Сижу, про собаку раздумываю, трубку покуриваю.

Тем временем к уткам понятие и все чувства воротились. Утки зашевелились, в порядок привелись, крылами замахали и вызнялись. «Вот, думаю, достанется мне от жоны за эко упущенье».

Утки вызнялись, тесно сбились, совещание ведут. Я опять пальнул. Уток оглушило, они на раскинутых крыльях не падают, не летят, на месте держатся.

Тут-то взять дело простое. Я веревку накинул и всю стаю к дому потащил.

Дождь набежал. Я под уток стал и иду будто под зонтиком. Меня вода не мочит, меня дождь не берет. Дождь пробежал, солнышко припекло, я под утками иду — меня жаром не печет.

Дома утки отжились, ко двору пришлись. Для уток у меня во дворе пруд для купанья, двор да задворки для гулянья. Как замечу уткински сборы к полету, я оглушительное ружье покажу, утки притихнут, присмиреют, домашностью займутся. Яйца несут, утят выводят.

Вскорости у всех уемских хозяек утки завелись. Всем веселые хлопоты, всем сыто.

Поп Сиволдай выбрал время, когда собаки Розки дома не было, пришел ко мне и замурлыкал такие речи:

— Я, Малина, не как другие прочие, я не прошу у тебя ни уток, ни утят, дай ты мне ружье твое, я сам на охоту пойду, скорее всех, больше всех разбогатею.

От попа скоро не отвяжешься — дал ему ружье.

Сиволдай с вечера на охоту пошел. Ружье ему не под силу нести, он ружье то в охапке, то волоком тащил. А к месту притащился вовремя и в пору.

На озере уток много, больше, нежели я словил. Поп Сиволдай ружьем поцелил, и курок нажал, а ружье перевернулось, выпалило и оглушило.

Очень хорошо оглушило, только не уток, а Сиволдая. Попа подкинуло да на воду, на спину бросило.

Поп не потоп, весь день по озеру плавал вверх животом.

Это чудо увидали старухи-грибницы, ягодницы. Увидали и запричитали:

Охти, дело невиданно,
Дело неслыханно.
Плават поп поверху воды,
Он руками не махает,
Он ногами не болтает,
Большое диво, большое чудо!
Поп молчит.
Не поет, не читает,
У нас денег не выпрашивает.

Эта сама большая удивительность. С того дня стали озеро святым звать. Рыба на нем перевелась, утки садиться на него перестали.

Озер у нас много. Мы на других охотимся, на других рыбу ловим.

А Сиволдай на воде отлежался, из озера выкарабкался. На охоту ходить потерял охоту.

ГУСИ

Моя жона картошку копала. Крупную в погреб сыпала, мелкую в избу таскала в корм телятам. Копала — торопилась, таскала — торопилась и от поля до избы мелкой картошки насыпала дорожку.

Время было гусиного лету. Увидали гуси картошку, сделали остановку для кормежки. По картошкиной дорожке один по один, один по один — все за вожаком дошли гуси до избы и в окошко один за одним — все за вожаком. Избу полнехоньку набили, до потолка, которые гуси не попали, те в раму носами колотились, крылами толкались и захлопнули окошки.

Дом мой по переду два жилья: изба, для понятности сказать — кухня да горница. Мы с жоной в горнице сидим, шум слышим в избе, будто самовар кипит, пиво бродит и кто-то многоголосо корится, ворчит, ругается.

Двери толкнули — не открываются. Это гуси своей теснотой приперли. Слышим: заскрипело, затрещало и охнуло.

Выглянули в окошко и видим: изба с печкой, под-

печком с мелкой картошкой для телят от горницы оторвалась, с места сорвалась и полетела.

Это гуси крылами замахали и вызняли полдома.

Я из горницы выскочил, за избой вдогонку, веревку на трубу накинул, избу к колу привязал. Хоть от дому и полкилометра места, а все ближе, чем за морем. И гусей хватит на всю зиму есть и нам с жоной и соседям.

Баба моя мечется, изводится, ногами в землю стучит, руками себя по бокам колотит, языком вертит:

— Еще чего не натворишь в безустальной выдумке? Како тако житье, коли печка от дому за полверсты? Как буду обряжаться? На ходьбу-беготню, на обрядню у меня ног не хватит!

Я бабу утихомирил коротким словом:

— Жона, гуси-то наши!

Жона остановилась столбом, а в голове ейной всякие мысли да хозяйственные соображения закружились. Баба рот захлопнула. Побежала к избе, гусей разбирать стала: которых на развод, которых сейчас жарить, варить, коптить. И выторапливается — кумушкам, соседкам по всей Уйме гусей уделяет. За дело взялась, устали не знает, и дело скоро ладится: которое в печке печется, которое в руках кипит, жарится. Моя баба бегает от горницы до избы, от избы до горницы, со стороны глядеть — веревки вьет.

Вот и еда готова. Жона склала в фартук жареных гусей, горячими шаньгами из печки сверху прикрыла, в горницу притащила, на стол сунула, тепло вытряхнула. Приловчилась — в фартуке и другое

всякое варенье, печенье наносила. В горнице тепло и не угарно. Тепло по дороге проветрилось, угар в сторону ушел.

Моя жона в большом удовольствии от хозяйничанья. Уемские бабы, тетки, сватьи, кумушки, соседки, жонины подруженьки, гусей жарят, варят, со своими мужиками едят, — тоже довольны. У меня жилье надвое — изба от горницы на отлете, не как у всех, а по-особому, и я доволен.

Все довольны, всем довольно, только попу Сиволдаю все мало. Надобно ему все захватить себе одному.

— Это дело и я могу, — кричит Сиволдай, — картошки у меня много с чужих огородов, мне старухи кучу наносили и на отбор мелкой.

Сиволдай насыпал картошки и к дверям, и к окошкам, и в избу, и в горницу, и на поветь, гуси не мешкали и по картофельным дорожкам через двери да в окошки полон дом набились.

Поп обрадел, двери затворил, окошки захлопнул. Поймал гусей. Гуси крылами замахали, поповской дом подняли. В доме-то попадья спящая была, громко храпела, проснуться не успела. Сиволдай за гусями жадно бросился, про попадью вспомнил и заподскакивал:

— Да что это такое! Да покричите всем миром, чтобы гуси воротились, чтобы дом мне отдали и попадью вернули. Скажите гусям: я их отпущу. Вам, мужикам, гуси поверят. Кричите всем деревенским сходом!

Мы Сиволдая проверочно спросили:

– А ты, поп, гусей-то отпустишь, ежели дом с попадьей вернут тебе гуси?

— Да дурак я, что ли, чтобы столько добра мимо рук пустить? Вы только мне дом с гусями воротите!

Мы в поповские дела вмешиваться не стали. Мы-то разговоры разговаривали, а гуси в поповском дому летят и летят, их криком уже не остановишь. Сиволдаю и дому жалко и попадью жалко — кого жальче и сам не знает.

Запричитал поп, руки воздел и громогласно запел:

Последняя жона у попа,
И ту гуси с домом унесли.
Унесли-то в светлой горнице,
С избой да еще с поветью.
Остался я без жоны один,
Заместо дому у меня баня да овин.
А и улетела моя попадья
В теплу сторону.
Как домой она воротится,
Да как начнет она бахвалиться:
«Я там-то была, то-то видела,
На гусях в дому перьва ехала,
Ни с кем еще не бывало экого!»
Мне и дому жаль,
И жальче же всего,
Что побывает попадья дальше моего.
Снаряжусь-ко я за жоной в поход.
Ты гляди, удивляйся, честной народ!

Что задумал поп, с тем скоро справился. Выбрал место видное, ровное, просторное. Сел, приманкой для гусей приладил себя. В широкие полы мелкую картошку насыпал кучами, в руки взял четвертную с самогоном. «Под парами» самогонными легче летать будет! Тетка Бутеня на голову попу самоварну тру-

бу поставила — не пожалела для общего веселья — и сказала:

— Это от всего моего усердья!

Сидит поп Сиволдай большим летным самогонным пароходом.

Недолго ждал поп. Гуси картошку увидали, Сиволдая не приметили — за картофельную кучу посчитали, погоготали и порешили взять с собой запас кормовой. Ухватились гуси за длинные полы поповские, поп и полетел.

Поп Сиволдай на гусях летит, самогон пьет. Гуси народ трезвый, пьяного духу не любят, особливо самогонного, гуси Сиволдая бросили.

Поп шлепнулся в болото, там чавкнуло, брызги в стороны выкинуло. Поп сидит и шелохнуться боится, кабы в болоте не угрузнуть. Сидит-завывает, людей созывает:

— Людие! Тащите меня из болота, пока я глубоко не просел. Тащите скорее, пока у вас гуси не все съедены, я вам есть помогу, а которые не початы — тех себе про запас приберу, вас от хлопот ослобожу.

Наши бабы причетом затянули:

— Ты б, поп Сиволдай,
На чужо добро не зарился,
Мы б тогда
Тебя, попа, вызволили.
Мы бы тогда
Тебя, попа, скоро вытащили.
А теперь, Сиволдай,
Ты в болото попал подходяще.
Как не твоя толщина, ширина,
Ты бы в болото ушел с головой.

Мы бы тогда
За тебя, попа,
В ответе не были,
Мы бы тогда тебя, попа,
Тут и оставили!

Вечером, близко к потемни, мужики выволокли Сиволдая на суху землю, чтобы за попа в ответе не быть.

Попадья и далеко бы, пожалуй, улетела, да во снах есть захотела. Глаза протерла, гусей увидала и ну их ловить. Разом кучу гусей ощипала, в печке жарить, варить стала.

Гуси со страху крылами махать перестали. Дом лететь перестал, в город опустился да на ту улицу, по которой архирея на обед везли. Архирейские лошади вздыбились, архирейская карета опрокинулась, архирея из кареты вытряхнуло. Архирей на четвереньки стал, животом в землю уперся, ему самому и не вызняться. Попы и монахи думали: так и надо, стали целым стадом и запели монастырским распевом:

Что оно еси,
Прилетело с небеси?
Спереди окошки,
Сбоку крыльцо,
Сзади поветь,
Машины нигде не углядеть!

Архирей сердито вопросил:

— Что за чудеса без нашего дозволенья? Кто в дому по небу летает, моих коней, моих прихлебателей пугает?

Сиволданха в самолутчее платье вынарядилась, на голову чепчик с бантом налепила, кирпичом на-

терлась-нарумянилась, с жареным гусем выскочила и тонким голоском, скорым говорком да с приседаньицем слова сыпать принялась:

— Ах, ваше архирейство, ах, как я торопилась к тебе на поклон! Как знаю я, что ты, ваше архирейство, берешь и тестянным и печеным, ах, запасла гусей жареных, гусей вареных и живых, не ощипанных полный дом. Полна и изба, и горница, и поветь — изволь сам поглядеть!

Архирея на ноги поставили.

— Ты, Сиволдаиха, забыла, что мне нельзя мясного вкушать?

— А ты, ваше архирейство, ешь, как рыбку. Ах, и хлопочу-то я не за себя, а за попа Сиволдая, чтобы дал ты ему како ни на есть повышение да доходу прибавление.

Архирей носом засопел, услыхал — жареным пахнет, дал согласье на Сиволдаихино прошение.

— Дозволяю твоему Сиволдаю с крестьян больше драть. От евонного доходу мне половина идет.

Попадья Сиволдаиха гусей припрятала, окошки занавесками задернула, архирею дала одного жареного, одного вареного и пару живых. Двери замком закрыла. Сама к дому привязалась кучером, вожжами по стенам захлопала, по повети ременкой стеганула. Гуси подняли дом и понесли.

Вернулась-таки попадья в нашу деревню. Ладилась приспособиться нам на головы сесть, да мы палками отмахались, прогнали на старое место.

Ребята дернули попадью за подол, попадья ногами лягнула и повернулась не в ту сторону, и сел поповский дом на старое место передом в заднюю сто-

рону, задом на улицу. По сию пору так стоит. Коли хочешь, лоди погляди.

Гусями поп с попадьей не попользовались. Нашим ребятам до всего надо дознаться, отворили окна да двери поглядеть, какая сила попадью в город носила, — гуси и улетели.

Моя изба всей Уйме на пользу была. Уемские хозяйки свои печки не топили, дров не изводили. Топили одну мою печку в моей летней избе, топили в очередь. Тепло охапками таскали по избам, в печке варили, жарили, парили, пекли кому что надобно — всем жару хватало.

Артельный горшок наварнее кипит, артельная печка жарче греет.

В артельной печке тепло такое прочное было, что в холодную пору мы теплом обвертывались и ходили в одних рубахах, на удивленье проезжающим.

Попробовал я теплом-жаром торговать. Привез в рынок жару-пару. Не успел остановить Карьку — налетели полицейские, чиновники, у чужого добра руки погреть.

— Что за товар, как продаешь, отмериваешь, отвешиваешь да какую цену берешь?

— Вы, ваши полицейства, чиновничества, на теплых местах сидите, руки чужим добром нагреваете. Мой товар в самый раз про вас. Попробуйте нашего деревенского жару.

Развернул я воз с теплом из нашей общественной, согласной печки и так «огрел» полицейских, чиновников, что они долго безвредными сидели. А мы, деревенский и городской простой народ, в те поры отдохнули, штрафов не платили, денег накопили, обнов накупили.

НА ТРЕСКЕ ГУЛЯЛИ

Был у нас капитан один, звали его Пуля. Рассказывал как-то Пуля:

— Иду мимо Мурмана. Лежу в каюте у себя. Машина постукивает исправно, как ей полагается, а чую, нет ходу. Вышел на мостик, осмотрелся — стоим!

— Что за оказия?

Посмотрел на корму, а от винта широченным кругом треска глушеная вскидывается, взблескивает серебром. Винт колотит, брызжет. Пароход — на месте! Мы на треску наехали.

Матросы пристали ко мне, канючат: «Дозволь, капитан, рыбу взять. Столько добра задаром пропадает! И трюмы у нас пустые!»

Ну, ладно, позволил. Пароход полный набрали. Сами зиму ели да приятелям раздавали в угощенье.

Да что Пуля! Я вот сам на лодчонке выскочил в океан (тоже на Мурмане дело было), от артели поотстал, вздремнул и сон такой ладный завидел.

Вдруг лодка со всего ходу застопорила разом. Я чуть за борт не вытряхнулся.

Протер глаза — я со всего парусного, поветренного ходу на косяк трески налетел.

В беспокойство не вошел: не к чему себя тревожить. Оглядел косяк, глазами смерил — вышло на много километров длиной. Палкой толщину узнал — вышло двадцать пять метров. Дело подходящее: ехать дальше можно.

На тресковый косяк лесу всякого нанесло. Смастерил избушку, развел огонь, сварил уху. Рыба тут. На рыбе еду, рыбу варю. Поел, поспал, поел, поспал. Меня треска кормит и везет.

Пора бы и к дому сворачивать. А весь косяк хвостом мотнул, на север повернул. И понеслись мы мимо Новой Земли, в океан Ледовитой.

На встречных льдинах я знаки ставил алыми платочками, что жоне с Мурмана подарком вез, чтобы дорогу обратную приметить. Погулял и домой пора.

Высмотрел вожака-рыбу, накинул узду. И так ладно вышло! Правлю, куда надо, весь косяк вожжой поворачиваю. К дому свернул. Шибче парохода шел.

В городе у рыбной пристани углом пристал. Пристал, торговать свежей треской стал: свеже-жива в воде.

Продавал дешевле богатеев рыбаков. Покупатели ко мне валом валили.

Смотрящи, лицезрящи на берегу столпились. Всем интересно поглядеть на тресковый косяк у пристани.

Я пущал гулять по треске. Малых ребят с учительницами пущал задарма, а с других жителей по копейке брал.

— Да ты, гость разлюбезный, кушай, ешь треску-то! Из того самого косяка, на котором я ехал, только уж не обессудь — посолена.

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ПОЛЮСНОЙ

(Продолжение)

Я тебе не все еще обсказал, что в море было.

Знаки-то я поставил, ветер платки полощет. Платки алые, что огонь взблескивают. Голос громкий песню вскрикивает.

Когда еще кто увидит в море платки алые, а медведь заприметил — и ко мне. А у меня не то что ружья, а и ружьишка завалящего нет никакого. Одначе варю себе треску, ем и в ус не дую.

Медведь наскочил на косяк, лапами хватает, а рыба в воде склизка. С краю за рыбий косяк ни в жизнь не ухватиться.

Сам-то я сижу на середке: мне что, а ты достань!

Медведь с ярости начал рыбу жрать, столько нажрал, что брюхо полнехонько и одна рыбина в зубах застряла.

Я медведя веревкой достал, шкуру снял.

Погодь сичас покажу, сам увидишь, что медведь полюсной, шкура большущая, шерсть длиннющая.

Жона из шерсти всяко вязанье наделала. И тако носко — чем больше носишь, тем нове становится.

Дайкосе привстану да шкуру достану, чтобы ты не думал, что все это я придумал.

Ох, незадача какая! Ведь я запамятовал, что шкуру-то губернаторской чиновник отобрал. Увидал у меня. Я шкурой зимой дом закутывал: так и жили в теплой избе и топили саму малость, только для варева, для печенья. Теплынь была под шкурой!

Пристал чиновник:

— Не отдашь — в Сибирь!

На чиновников управы не было.

Взял я шкуру полюсного медведя, шерсть снял, вот тут-то моя баба и взялась за пряжу. Кожа была мягкая, толстая, я и ее содрал — мы потом с кашей съели. Шкуру без шерсти да без кожи (что осталось — и сам не знаю) свернул и отдал чиновнику, пояснил, что так сделал нарошно, чтобы везти было легче. У чиновников в ту пору понимания настоящего не было, только грабить ловко умели.

ЧАЙКИ ОДОЛЕЛИ

(Продолжение)

Вот чайки тоже одолевали меня, когда я на треске ехал.

Треска — рыба деловитая, идет своим путем, за своим делом, в сторону не вертит. А чайки на готовое и рады, за рыбьим косяком кружили, рыбу жрали.

Ну, я чаек наловил столько, что как к городу подплыл, куча чаек на моем рыбном косяке выше домов была.

В городе приезжим и чиновникам чаек продавал как гусей. И ловчились купить больше и дешевле. Как назвал чаек гусями да пустил подешевле — в миг раскупили. А мне что? Кабы настоящие рабочие люди, совестно стало бы. Чиновникам надо было, чтобы на разговор важно было да форсисто да для всех громко слышно, а суть кака хошь.

Чаек, гусями названных, за гусей съели и гостей потчевали.

У чиновников настоящее пониманье важностью и форсом было загорожено.

ОГЛОБЛЯ РАСЦВЕЛА

Разные дожди живут. И редкий стороной пройдет. Да и мы не всякого и зазываем. Ежели сердитый который по постройкам барабанит и крыши пробивает, того мы в город спроваживали, — там сердитый дождище чиновничьи, полицейские дела прополощет, прохлещет, после чего простому народу дышать легче.

В бывалошное время мы сами-то мало что могли сделать. На все, что хорошо, запреты были, а коли сделаешь что для всех пользительное, за то штрафом били.

Дожди народ вольный, ходили, что нужно — выращивали, что лишне — споласкивали, водой прочь угоняли.

Дожди порывисты у чиновников даже у самых больших, у самых толстомордых фуражки с кокардами срывали, приказы со стен смывали.

Нам дожди подмогой бывали и в поле и на огороде, в деревне дождям радовались, а в городу от дождя прятались.

Был у меня друг-приятель совсем особенный —

дождь урожайный. Только вот не упреждал о себе, прибегал, когда ему ловчее. Прибежит урожайный дождик, раскинется бисером — частой говорей.

Тут только не зевай, время не теряй, что хошь посади — зарастет.

Вот раз урожайный дождик зазвенел, брызгами засветился. Я ладился старую оглоблю на дрова изрубить, взял да и ткнул в землю оглоблю-то.

Оглобля супротивиться не стала, буди того и дожидала, — разом зазеленела и в рост пошла.

Я торопился, по двору крутился, чтобы деревянную хозяйственность в рост пустить. Что на глаза да под руки попало, все на растущую, цветущую оглоблю накидывал: ведра, шайки, полагушки[1], грабли, лопаты, палки для ухватов, наметельники, для белья катки и вальки, на крынки деревянны покрышки. Попалось веретено — подкинул и его.

Над моим двором зеленой разговор пошел.

Новоурожайная хозяйственность первоочередно поспела и веселыми частушками в кучи складывалась, и будто по заказанному счету всем хозяйкам, на всю Уйму по штуке и про запас по десятку. Никому и не завидно, никому не обидно — всем в обиход.

Наше богатство нашему согласью не было помехой. А на оглобленном дереве новы оглобли расти стали.

Оглобли, которые занозистые, те цвели да размахивались, в разные стороны себя метали и с присвистом. В нашу сторону от оглобель песня неслась веселая с припевом:

---

[1] Полагушка — деревянная посуда для молока.

Деревенских мы уважим,
Путь чиновникам покажем!
Сопроводим их
Мимо наших ворот с песнями.

У оглобель дела с песнями не расходятся. Как к нашей деревне станет подбираться чиновник по крестьянским делам али полицейский со злым умыслом, так оглобли в ихну сторону и вдоль спины опрягут, по шее огреют и мимо дорогу покажут. От чиновников мы страху натерпелись, им острастка нужна была.

Чиновники тоже в умное рассуждение пустились:

— Палка, — говорят, — о двух концах.

Про палку оно верно, да когда палка в руках. А оглобли-то сами собой и обоими концами управляли и били кого надо. Битые-то, бывало, большой стороной обходили всяко дерево у деревни. У нас и поговорка такая была: «Пуганые чиновники куста боятся».

КАК СОЛЬ ПОПАЛА ЗА ГРАНИЦУ

(Сказку эту я слышал от Варвары Ивановны Тестовой в деревне Верхне-Ладино)

В Архангельском городу это было. В такую дальную пору, что не только моей памяти не хватит помнить, а и бабке с пробабками не припомнить году-времени. Мы со слов на слова кладем да так и несем, которое растрясется, которое до записи дойдет.

Так вот жил человек большого богатства. Жил он лесом, в разные заграницы лес продавал, большими делами ворочал, большие капиталы наживал.

Было у того человека три сына.

Старший да средний хорошо вели отцовское дело, продавали, обдували, обсчитывали и были любы отцу.

Младшему сыну не к рукам была торговля, ему бы песней залиться да плясом завиться. И дома-то он когда, некогда оследиться, все с канпаньей: развесело время вел. Звали этого молодца Гулёна. Парень ласковый, обходительный, на поклон легок, на слово скор, на встрече приветлив. Всем парень вышел, только выгодных делов делать не умел.

Задумал богатой человек сбыть сына Гулёну. И придумал это под видом большого дела. Отправил всех трех сынов с лесом-товаром в заграницы.

Старшому (а был тот лядящий, худящий, до чужого жадный, загребущий), ему отец снарядил корабль дубовый, паруса шелковые, лес нагрузил самолутчий, первосортный.

Второй сын был толстый раскоряка, живот бочкой, ноги ухватом, скупящий-прескупящий. Про себя хвалился: у скупа не у нета, всего много.

Этому второму корабль был дан сосновый, паруса белополотняные, лес — товар второсортной.

Третьему — развеселому снарядил отец разваляющую посудину, и такую дыряву, что из дыры в дыру светило, вода как хотела, так и переливалась, рыбы, как на постоялый двор, заходили, уходили.

В этой посудине прямая дорога на дно морское, коли до моря дойдет. Посудина поверх воды держится, пока волной не качнет.

Товар нагружен на смех: горбыли, обрезки да стары кокоры, никуда не нужны которы, парусом старой половик повесили.

Никудышное суденышко снаряжено, никудышной товар нагружен.

Надо Гулёну на борт заманить.

Придумал богач такое дело: по бортам наставил штофов, полуштофов с водкой, а на корму четвертную. По-за бутылками зеркалов наставил. С берега видится, что все судно водкой полно.

Увидал Гулёна развеселый груз на суденышке, созвал-собрал своих приятелей: собутыльников, балагуров, песенников.

Бутылки и полбутылки с водкой на суденышке весело поблескивали, у Гулёны с приятелями глаза засветились. Забрались они на суденышко.

Отдали концы корабли, и суденышко с ними в одно время, в одну минуту. Старший брат тощий, средний толстый брат, большим передом спередили Гулёну и в море вышли.

А Гулёна с приятелями не торопятся, водку пьют, песни поют и не примечают, что идут десятый день девяту версту. Водку выпили, в море выплыли.

Тут развернулась погодушка грозной бурею. Вода вздыбилась, волны вспенились.

Гулёна повыкидывал за борт горбыли, обрезки и старые кокоры — все равно не товар.

Порожнее суденышко на воды чайкой летит. Гулёне с товарищами дело одно: хошь стой, хошь ложись, только крепче держись!

Ветер улетел, море отшумело, отработалось, в спокой легло.

По переду судна на воде что-то очень блестит — белеет, сверкает и похоже на остров. Гулёна суденышком о самый остров и пристал.

Остров из чистой белой соли был.

Мешкать долго не стали. Гулёна с молодцами законопатили сквозные дыры, соли нагрузили. Солью все никудышное суденышко пропиталось, парус просолился, и при солнечном свете и суденышко и парус каменьем самоцветным засверкали. Драгоценным кораблем полетело суденышко.

Попутная вода и поветерь в заграницу суденышко пригнали.

В гавани к стенке стали, люки открыли.

Заграничный народ на блестящий, сверкающий корабль любовался, удивлялся.

Соль в трюмах сахаром виднелась. Люди подходили, на язык брали, плевались, уходили.

Взял Гулёна малой мешок соли и пошел по городу.

В городу, в самой середине, царь жил. У царя большая гостьба шла, понаехали разные цари, короли. В застолье сели, обеда дожидаются, разговорами время коротят.

Гулёна зашел в кухню. Сначала обсказался: кто он и откудова и с чем приехал, соль показал. Повар соль попробовал.

— Нет екой нескусности мы еще не видывали, ни царь, ни гости царевы есть не станут.

Гулёна говорит:

— Улей-ко в чашку щей.

Повар налил, Гулёна посолил.

— Отпробуй теперича.

Повар хлебнул, да еще хлебнул и отстать не может, — все съел.

— Ах, какое вкусное! Я распервеющий повар, а етакого не едал.

Гулёна посолил все, что нужно. Поварята на столы таскают. Большие блюда по пяти человек несут, а добавочные к большим каждое по два прут, добавочных блюдов по полсотни.

Цари, короли, не как простой народ, брюха во всю ширину распускали и ели за всех голодающих и недоедающих.

Мало погодя в кухню царь прибежал, на ходу кусок дожевыват и повару кричит:

— Жарь, вари, пеки, стряпай, гости все съели и есть хотят, ждут сидят! И что такое ты сделал, что вся еда такая приятная?

— Да вот человек приехал из Архангельского города и привез соль, от этой соли и пища вкуснее и. пользительнее стала.

Царь к Гулёне:

— Много ли у тебя этой соли? И сколько чего хочешь, чтобы мне одному всю продать? Другие короли, цари еду с солью попробовали, им без соли ни быть, ни жить более. А как соль будет у меня одного, то буду я над всеми королями, царями главным царем.

Гулёна отвечает:

— Ладно, продам тебе всю соль, только с уговором: чтобы вы, цари, короли, жили мирно, без войны, всяк на своем месте, своим добром и на чужое не зарились. На этом слово дай. Второе мое условие: снаряди новой корабль из полированных дерев с златоткаными парусами, трюма деньгами набей: передний носовой бумажными, задний кормовой золотыми. И третье условие — дочь свою за меня взамуж отдай. Мы с ней уже виделись и сговорились. Не хочешь на мои условия согласья дать — я соль обратно увезу.

Царь и раздумывать не стал, подумал про еду без соли — у царя разом живот подвело, царь соображает: с солью больше есть станет, значит больше трудиться во благо утробы своей будет.

Согласье на все дал.

Скоро все сготовлено. Корабль лакированный блестит, паруса златотканые огнями светятся.

Гулёна сам себе сватом к царской дочери с разговором:

— Что ты делать умеешь?

— Я умею шить, вышивать, мыть, стирать, в кухне обряжаться, петь и плясать.

— Дело подходящее, объявляю тебя своей невестой.

— Ты, Гулёна, царям, королям на хвосты соли посыпал, за это ты люб мне стал, иду за тебя.

Пир — застолье отвели.

Поехали. Гулёнин корабль жар-птицей летит.

Старшие братья караулили Гулёну у поворота ко городу Архангельскому. Увидали, укараулили и наперерез пошли. Задумали старшие младшего ограбить, корабль богатой с деньгами себе забрать.

Тут спокойно море забурлило, вода зашумела. Кругом Гулёнина корабля дерево забрякало, застукало, все хламье, что заместо товару было дадено: горбыли, обрезки, стары кокоры приплыли, Гулёне-хозяину поклон отдают приветной. И вызнялись поперек моря. Гулёнин корабль от бури и от братьев высоким тыном загородили.

Море долго шумело, долго трепало и загребущего и скупущего. Домой отпустило после того, как Гулёна житье свое на пользу людям направил.

КАК Я ЧИНОВНИКОВ ПОТЕШИЛ

Вот раз городское начальство стало примечать — из всех деревень и ближних и дальних мужики, жонки приезжают сердитые, а из Уймы все с ухмылочкой, все веселые.

Что за оказия такая? Все деревни одинаково под полицейскими стонут, а уемские все с гунушками, а то и смехом рассыплются, будто вспомнят что.

Дознались начальство. Да наши сами рассказали — не велик секрет, не наложен запрет.

— Дело, — говорят, — простое: наш Малина веселые сказки плетет, песни поет, порой мы не знаем, где правду сказыват, где врать начинает, нам весело, мы смехом и обиду прогоняем и усталь изживаем.

Дошло это до большого начальства. Большое начальство затопорщилось:

— Как так смешно да весело мужикам, а не нам? Подать сюда Малину и во всей скорости!

Набрал я всякой еды запас на две недели, пришагал в город к дому присутственных мест, стал перед домом, дух вобрал да гаркнул полным голосом:

— Я, Малина, явился! Кому нужен, кто меня требовал, кто меня спрашивал?

Да так хорошо гаркнулось, что в окнах не только стекла — рамы вылетели, в присутственных палатах столы, стулья, шкафы с бумагами подбросило, чиновников перекувырнуло и об пол припечатало.

Худо бы мне было от начальства за начало такое, да губернатора на месте не было, он по заведенному положению позднее всех появился. Поглядел губернатор на чиновников, ушибленные места почесывающих. Почесываются, а встать, подняться не могут.

Губернатор под мой окрик не попал, а на других глядеть ему весело, он и захохотал.

Чиновникам и больно, и обидно, а надо губернатору вторить. Они и захихикали мелким смехом.

Губернатор головы не повернул, а мимо носу, через плечо, наотмашь стал слова бросать:

— Вот за этим самым делом, Малина, я тебя призвал, чтобы ты меня и других чинов важных уважил — смешил. Сейчас ты меня рассмешил. Ты, сиволапый, долго ли можешь нас, больших людей, смешить?

— Да доколе прикажете!

— Ну, ну! Мы над мужиком смеяться, потешаться устали не знаем, нам это дело привычное. Потешай, пока у тебя силы хватит. Загодя скажу — ты скорее устанешь, чем мы смеяться перестанем.

Для хорошего народу сказки говорю спокойно, где надо, смеху подсыплю — народ заулыбается, рассмеется и дальше опять в спокое слушает. В меру смех в работе подмога и с едой пользителен.

А чиновников что беречь?

Сердитость свою я убрал, чтобы началу не мешала, сделал тихой, лицо бездумное. Начал тихо, а помалу да помалу стал голосу прибавлять, а смех-то сыпал с перцем, да с крупно толченным, несуразицей подпирал, себя разогнал, ну, и накрутил.

Губернатор взвизгивает, животом трясет, чиновники руками отмахиваются, значит передышки просят.

Я смотрю, чтобы смех не унимался, чтобы смех не убывал. Завернул я большой смех часа на три, а сам в ту пору сел, поел, питья да выпивки велел из трактира принести и на губернаторской счет записать.

Три часа проходят, а еще слов пять сказал, как пару поддал, и опять чиновники от смеху в круги да в покаточку.

Мне что? Больше смеются — больше смешить стал. Я чиновников-издевальщиков крепко крутанул, а сам по городу пошел — разные дела делал, порученья деревенские справлял.

Время к вечеру пришло. Мне спать пора, я такое загнул, что губернатор всю ночь гоготал, а чиновники тонким визгом завились.

На другой день я всю сердитость накопленную в ход пустил. И не только словами смешил, потешал, а и руками и ногами всякие кренделя выделывал — это словам на подмогу, как гармонь к песне. Из присутственных мест, из разных палат смех да хохот громом летел по городу.

Городская беднота только ежилась.

— Опять на нас какую-то напасть выдумывают,

опять шкуру с нас драть ладятся. Экой упряг времени хохочут, грохочут. Семь шкур содрали — восьмую содрать собираются.

А чиновники перестать смеяться не могут. Глянут друг на дружку — их буди ремешком подстегнет на новый смех. Через столы переваливаются, по полу катаются.

Каждому смешно, что не он один в такое дело попал.

И до того досмеялись, что мелкие чиновники только ножками дрыгали да икали, а губернатор булькал и пузыри пускал.

Чиновники народ был хилый, мундирами держались, а смеяться, насмехаться над мужиками да над простым народом были сильны. Неделю смеху выдержали, второй недели не дотянули — извелись. А губернатор лопнул!

ПОДРУЖЕНЬКИ

(Почти с натуры)

Как звать подруженек, сказывать не стану, изобидятся, мне выговаривать почнут. Сами себя узнают, да виду не покажут, не признаются.

Обе подруженьки страсть как любили чай пить. Это для них разлюбезное дело. Пили чай всегда вместе и всяка по-своему. На стол два самовара подымали. Одной надо, чтобы самовар все время кипел-разговаривал.

— Терпеть не могу из молчашшего самовара чай пить, буди с сердитым сидеть!

Друга, как самовар закипит, его той же минутой крышкой прихлопнет:

— Перекипела вода, вкус теряет, с аппетиту сбивает.

Обе голубушки, с полного согласия, в кипящий самовар мелкого сахару в трубу сыпали. Это для приятного запаху, оно и угарно, да не очень.

Чай пили — одна вприкуску, друга внакладку. Одной надо, чтобы чашечка была с цветочком: хошь маленький, хоть с одной стороны, а чтобы был цветочек. «Коли есть цветочик, я будто в саду сижу!»

Другой надо чашечку с золотом, пусть и не вся золота, пусть только ободочек, один крайчик позолочен, — значит чашечка нарядная!

Одна пила с блюдечка: на растопыренных пальчиках его держит и с краю выфыркивает, да так тонкозвучно, буди птичка поет.

Друга чашечку за ручку двумя пальчиками поддерживает над блюдечком и чаем булькает.

Пьют в полном молчании, от удовольствия улыбаются, маленькими поклонами колышутся.

Самовары ведерны. По самовару выпили, долили, снова пить сели. Теперь с разговором приятным. Стали свои сны рассказывать. Сны верные, самые верные: что во сне видели, то всамделишно было.

Одна колыхнулась, улыбнулась и заговорила:

— Иду это я во сне. И така я вся нарядна, така нарядна, что от меня будто свет идет! Мне даже совестно, что нарядне меня нет никого. Дошла до речки — через речку мостик. Народом мостик полон, — кто сюда, кто туда. При моей нарядности нельзя толкаться. Увидали мою нарядность: кто шел сюда, кто шел туда — все приостановились, с проходу отодвинулись, мне дорогу уступили.

Заметила я, что не все лица улыбаются. Я сейчас же приветливым голосом сказала слова громоотводные: «Извините, пожалуйста, что я своим пере-

ходом по мостику вашему ходу помешала, остановку сделала». Все лица разгладились, улыбками засветились. Ясный день светле стал. Речка зеркалом блестит. Глянула я на воду — на свою нарядность полюбоваться, — рыбы увидали меня, от удивленья рты растворили, плыть остановились, на меня смотрят-любуются. Я сняла фартук с оборками, зачерпнула полный рыбы и с поклоном в знак благодаренья за оказанное уваженье отдала народу по эту сторону мостика. Ишо зачерпнула рыбы полный фартук и отдала народу по ту сторону мостика. Зачерпнула рыбы третий раз — домой принесла.

Кушайте пирог с той самой рыбкой, котору во сне видела. Вот какой у меня верный сон!..

Друга подруженька обрадовалась, что пришел ее черед рассказывать. Вся улыбкой расцвела и про свой сон рассказ повела:

— Видела я себя такой воздушной, такой воздушной! Иду по лугу цветущему, подо мной травки не приминаются, цветочки не наклоняются. Я прозрачным облачком лечу. И дошла я до берега. Вода серебром отливает, золотом от солнца отсвечивает. А по воде лодочка плывет, лаком блестит. Парус у лодочки белого шелка и весь цветами расшит.

И сидит в той лодочке твой муженек, ручкой мне помахивает, зовет гулять с ним в лодочке...

Не пришлось голубушке свой сон досказать до конца.

Первая подруженька подскочила, буди ее подкинуло! Сначала задохнулась, потом отдышалась и во всю голосову силу крик подняла:

— Да как он смел чужой жене во снах сниться! Дома спит, будто и весь тут! А сам в ту же пору к чужой жене в лодочке подъезжает! Да и ты хороша! Да как ты смешь чужого мужа в свой сон пушшать! Я в город пойду, все учреждения, все управы обойду, добьюсь приказу, строгого указу: чтобы не смели мужья к чужим женам во сны ходить.

ВОЛЧЬЯ ШУБА

Охотилась собачонка Розка на зайцев. Утресь поела – и на охоту. До полдён бегала в лес да домой, в лес да домой — зайцев таскала.

Пообедала Розка, отдохнула — такое старинное заведенье после обеда отдыхать. И снова в лес за зайцами.

Волки заприметили Розку — и за ней. Хитрая собачонка, будто и не пужлива, будто играет, кружит около одного места, — тут капканы были поставлены на волков. Розка кружит и через капканы шмыгат. Волки вертелись-вертелись за Розкой и попали в капканы.

Хороши волчьи шкуры были, большущи такие, что я из их три шубы справил: себе, жоне и бабке. Я и Розку не обидел. У своей шубы сзади пониже пояса карман сделал для Розки. Розка тепло любит, в кармане спит и совсем неприметна. Избу караулит, — шуба в сенях у двери висит, и никому чужому проходу нет от Розки. Если я в гости засобираюсь, Розка в карман на свое место скочит. По гостям для Розки ходить первое дело

В одних гостях увидал поп Сиволдай мою шубу, обзарился и говорит:

— Эка шуба широкая, эка теплая! Волчья шуба наряднее енотовой. Эку шубу мне носить больше пристало!

Одел Сиволдай мою шубу, а Розка зубами хватила попа за спину. Поп шубу скинул и говорит:

— Больна горяча шуба, меня в пот бросило!

У урядника к чужому руки сами тянутся.

— Коли шуба жарка — значит враз по мне.

Надел урядник шубу, по избе с форсом пошел, голову важно задрал. Розка свое дело знает. Рванула урядника и раз и два с двух сторон. Не выдержал урядник, весь вид важный потерял, сначала присел, потом подскочил, едва из шубы вылез. Отдувается.

— Здорово греет шуба, много жару дает, да одно неладно — в носке тяжела!

Хозяйка в застолье стала звать. Мы сели. Поп Сиволдай присел было, да подскочил, — Розка знала, куда зубы запустить.

Сиволдай стал на коленки у стола.

— Я буду на коленях молиться за вас, пьяниц, и во избежание вашего опьянения лишнее вино в себя вылью.

Урядник тоже попробовал присесть и тоже подскочил, за больное место ухватился.

— Ах, и я по примеру попа Сиволдая стану на коленки.

Стоят на коленках перед водкой поп и урядник и пьют и заедают.

Много народу набилось в избу, всем любопытно поглядеть на попа и урядника в эком виде.

Какой-то проходящий украл мою шубу, подхватил в охапку, по деревне будто с дельной ношей прошел. За деревней проходящий шубу надел. Розка его рванула зубами. Проходящий взвыл не своим голосом. На всю Уйму отдалось.

Мы испугались: что такое стряслось? Из застолья выбежали и видим: за деревней человек удирает, за спину руками держится.

А по деревне к нам шуба бежит, руками размахивает, воротником качает, собак пугает.

Урядник на меня наступает, пирог торопится доедает, пирогом давится, через силу выговаривает:

— Какая такая сила в твоей шубе? Меня искусала и сама по деревне бегает.

Поп недоеденный пирог в карман упрятал.

— Это колдовство! Дайте сюда святой воды. Я шубу изничтожу.

Дали воды из рукомойки. Сиволдай брызнул на шубу — раз да и два. На Розку водой попал. Розка водяного брызганья не терпит, с шубой вместях подскочила, попа за пузо рванула.

Ох, заверещал поп! За живот руками хватился и за угол дома спрятался. Оттуда визжит, буди его режут.

Шуба к уряднику. Это Розка все своим умом выделывает, мое дело стороннее, урядник ноги заподкидывал и бегом из нашей деревни. И долго к нам не показывался.

Городские полицейокие знали мою шубу: если в волчьей шубе иду — не грабили, даже сторонились.

МОРОЖЕНЫ ВОЛКИ

На что волки вредные животные, а на раз придется, то и волки в пользу живут.

Дело вышло из-за медведя.

По осени я медведя заприметил.

Я по лесу бродил, а зверь спать собирался. Я притаился за деревом, притаился со всей неприметностью и чуть-чуточно выставился — посматривать.

Медведь на задние лапы встал, запотягивался, вовсе как наш брат мужик, когда на печку или на полати ладится. Мишка и спину и бока чешет и зевает во всю пасть: ох-ох-о-охо! Залез в берлогу, ход хворостиной прикрыл.

Кто не знает, ни в жизнь не догадается.

Я свои приметины сделал и оставил медведя про запас.

Зимой я пошел проведать, тут ли мой запас медвежий.

Иду себе, барыши незаработанные считаю.

Вдруг волки. И много волков.

Волки окружили. Я до того не замечал холоду, и

было-то всего градусов сорок с малым, а тут сразу озяб.

Волки зубами пощелкивают. Мороз на сто вскочил. Подскочил я метров на двенадцать, за ветку ухватился. Дерево потрескивает на холоду, а мороз уж за сотню идет.

Сутки провисел на дереве. И вот зло меня взяло на волков, в горячность меня бросило.

Я разгорячился. Да так разгорячился, чую — что-то бок ожгло! Хватил рукой, а в кармане у меня бутылка с водой была, — так вода от моей горячности вскипела.

Я бутылку вытащил, горячего выпил. Ну, тут-то я житель! С горячей водой полдела висеть.

На вторые сутки волки замерзли, сидят с разинутыми пастями. Я горячую воду допил и любешенько на землю спустился.

Двух волков на голову накинул, десяток на себя навесил заместо шубы, остатних волков хвостами связал, к дому приволок. Склал костром под окошком.

И только намерился в избу идти, слышу, — колокольчик тренькает, да шаркунки брякают.

Исправник едет.

Увидал исправник волков и заорал дико (с нашим братом мужиком исправник по-человечески не разговаривал).

— Что это, — кричит, — за поленница?

Я объяснил исправнику:

— Так и так, это волки мороженые, — и добавил: — Теперь я на волков не с ружьем, а с морозом охочусь.



Исправник моих слов и в рассуждение не берет, волков за хвосты хватает, в сани кидает и счет ведет по-своему:

— В счет подати,
В счет налогу,
В счет подушных,
В счет подворных,
В счет дымовых,
В счет кормовых,
В счет того, сколько с кого.
Это для начальства,
Это для меня,
Это для того-другого,
Это для пятого — десятого,
А это про запас!

И только за последнего волка три копейки выкинул. Волков-то полсотни было.

Куда пойдешь, кому скажешь?

СЛАДКОЕ ЖИТЬЕ

Посреди зимы это дело было. И снег, и мороз, и сугробы — все на своем месте. Мороз не так чтобы большой, не на сто градусов, врать не буду, а всего на пятьдесят. Я лесом брел. От жоны ушел. Моя жона говорлива, к ней постоянно гости с разговорами, с новостями, с пересудами — я и ушел в лес, от бабьего гомону голову проветрить.

Пал туман на землю. Опускается да все гуще и гуще.

Иду, снегом поскрипываю, а мороз по лесу постукивает.

Гляжу — пчелы!

Ох ты, — пчелы? И живые, и летают! Покажется это пчелка, холоду хватит да в туман и прячет себя.

Кабы я от кума шел, ну, тогда дело простое — с пива хмельного всякое может привидеться. Кабы я из полицейской кутузки был выпущен, тогда бы и память и пониманье были бы отшиблены. А я в настоящем полном своем виде, во всем порядке.

И пчелы!

Я к ним, к пчелкам, и шагнул. О туман стукнул-

ся. От тумана на меня сладким теплом пахнуло-дохнуло. Понюхал — пахнет медом, пряниками, леденцами хорошими.

Я шагнул в туман, он подается, а не раздается, в себя не пускает. Хотел напролом проскочить, а туман тугой — держится и вытолкнул меня обратно на холод.

А пчелки, пчелки трудящие шмыгают в тумане, похоже, зовут к себе в гости. Надо, думаю, пчелкам слово сказать, а туман сладостью конфетной мне рот набил. Я прожевал — оченно даже приятно. К чаю очень подходяще. Стал топором туман рубить.

Пробурил ход в сладком тумане, протолкал себя на ту сторону. И попал на сладкие воды, — видать, они в нашей холодности хранили себя.

Стою в ласковом тепле. Вижу, озерко лежит в зеленой травке, на травке цветочки разные покачиваются, леденцовыми колокольчиками позванивают.

Берег озерка усыпан разноцветными конфетами. Озерко гладкую волну вздымает на берег, новые пригоршни леденцов кидает, у берега волна спенится, сахаром на берегу останется.

Пчелки кругом носятся, золотые узоры ткут, на воду чуть присядут и с медовым грузом к берегу летят. На берег мед ровными стопками кладут.

Хлебнул я воду для испытания. Вода теплая, сладкая. Все место вокруг озерка из-за тумана никому неведомо. Спрятано хорошо.

А кругом дела делаются. Мед на берегу заподтаивал и потек на воду, с сахарной пеной тестом замесился и готовым пряником на берег двинулся.

Я посторонился, туман раздвинулся. Пряники,

широченные, длиннющие, двинулись по моим следам. Пчелки трудящие, работящие на пряниках медом-сахаром письменно-печатно узоры вывели. Леденцы да пряники к нам в деревню, к моему двору прикатились.

Надо сладкое добро от глаз захватчиков спрятать и по дороге прикрыть; я туман прихватил за края и растянул занавеской на весь путь, пряник прикрыл и с той и с другой стороны.

Пряники идут и идут. Я их на ребро — да к дому. Пряники во всю стену. Мы в Уйме домы пряниками обставили, крыши пряниками накрыли. В пряниках окошки прорубили. У пряничных домов углы, обоконники и крыши леденцом разноцветным облепили. Даже издали глядеть сладко.

Туман по показанной ему дороге тянется от сладкого озера и у нас на задворках вьется, в сладкие кучи складывается.

Пряники без устали самоходно себя месят и нам себя катят, штабелями складываются.

Народ у нас артельной, на помощь пришли, пряники к себе растащили. Дома, сидя за чаем, угощаются, потчуются.

К нам хороший человек поколотится, мы пряничные ворота отворим, с поклоном принимаем, угощаем, пряниками накормим, с собой запас дадим.

Поколотится урядник, поп, чиновник, мы скрозь окошки кричим:

— Милости просим, заходите, гостите, для вас самовар ставим, на стол собираем, рюмки наливаем, только ворота пряничные не отворяются. Уж не стесняйте себя церемонией, поешьте пряника, проешьте

дыру в меру вышины, ширины и в избу зайдите, гостями будете.

Поп, урядник, чиновник на пряничные ворота набрасывались, животы набивали пряниками, пряники ломали, в карманы клали, а к нам ходу ни прогрызть, ни проломать не могли.

Без них у нас и стало сладкое житье.

ПРЯНИКИ

(Продолжение)

Пряники беспрерывно прибавляются. У нас в Уйме места уйма, а от пряников тесно стало. Надо в город везти, хорошему простому народу в угощенье, а остальным в продажу.

По зимней ровной дороге мы крупных леденцов насыпали, на леденцы пряник на пряник поставили, вышиной на аршин выше домов, шириной только с пол-улицы,— для проходу половину улицы оставили.

Для сохранности пряники туманом накрыли.

На что полицмейстер, кажется, страшнее его не было никого, а и тот от пряничного ходу со всей своей тройкой свернул в переулок узенькой и до конца торгового дня из переулка вывернуться не мог.

О своем товаре мы не кричали, не объявляли, и так всем известно стало: пряничной дух всех с места скинул, все на рынок за пряниками прибежали.

Простому хорошему народу мы пряники так давали, кто сколько мог на себе унести. Чиновничьему люду пряники продавали. Цена нашим пряникам та же, что и лавочным, только мера другая. В лавке

цена за фунт, а у нас за ту же цену бери махову сажень. Маховая сажень с два метра, а то и три,— это глядя по росту покупателя и по размаху рук. Бери сажень в вышину и в ширину.

По первости чиновники носами ворочали:

— Много навезено, задешево продают, значит нестоящий товар! Нам угодно того, чего мало али вовсе нету и что втридорога стоит и нам за полцены дают.

Носом повертели, не утерпели, поели, попробовали — отстать не могут. Пряники — еда вманчива!

Все ели одинаково, а действие было разное.

Простой народ ел, сытел, в тело входил, голову подымал, на ногах крепче стоял.

Заправилы, воротилы всех мастей едят с жадностью, их корежит, распирает. Не по нутру им пришлись пряники, а народ хвалит, облизывается.

Хорошему народу мы давали пряники со всей узорностью, со всей печатностью — в этом-то и вся суть и сытость пряников и была.

Остальным от тех же пряников и большие куски отворачивали, а на них пусто, печатности пчелок трудовых нет.

Полицейским не спится, на месте не сидится, надо им вызнать, с чего повелось, откуда завелось.

Полицейские тихим обходом дело начали, ко мне тонкими лисами подъехали:

— Малина, ты мужик справной, хорошо живешь, помалу не пьешь. Скажи на милость, откудова в Уйме пряников такая уйма?

Спрашивают особым секретным голосом. Я им в том же виде отвечаю:

— Ежели скажу да покажу, то ваше начальство и у нас, мужиков, и у вас, полицейских, все себе отберет. Я покажу только вам и по секрету — приходите ко мне в сутемки, сыты будете.

Были у меня бочки сорокаведерные припасены для медового запасу. Бочки я толсто медом смазал.

В потемень полицейские заявились. Я их со всей настоящей обходительностью угощал пряниками, накормил до раздутия. И по одному к бочкам подводил. У бочек днища были открыты, бочки на боку, в потемках очень схожи с потаенным ходом.

Полицейские в бочки сунулись, в мед влипли, я днище заколотил, для воздуху в бочках дырки просверлил. На бочках надпись вывел: «Перевертывать». Кто идет, тот и пнет. За околицу вытолкнули бочки. На дороге бочки не застаивались, всегда было кому пнуть, перевернуть.

От полицейских всем миром избавились!

По большим дорогам большое начальство ехало. Бочки поперек дороги выкатились.

Начальство увидало, перепугалось, медвежью болезнью заболело, — так уж положено большому начальству той болезнью болеть.

— Ой, ой, бомба! Кати ее под гору, кати на реку!

В городе теперь у нас тишина, спокой. Никто в морду не бьет, никого не грабят, никого в кутузку не тянут.

Губернатор и полицмейстер приказами кричат:

— Это беспорядок — во всем городе порядок!

ЦАРЬ В ПОХОД СОБРАЛСЯ

(Продолжение)

Пряников у нас горы. По всей деревне задворки пряниками загружены.

Мы едим, надо дать и другим. Стали посылать в разные города. Пряники грузились на платформы, туман легонько прикрывал их для сохранности. Узорность и письменность на пряниках тем туманом скрывалась от полицейских глаз.

Покатили наши пряники писаны-печатны по селам, деревням, по городишкам, городам. Дошла весть о пряниках до чиновников, до важных начальников, до министеров, до царской подворотни и до самого царя.

Все перепугались, даже пьянствовать остановились. Царь выкрикиват:

— Как так, из голодной губернии в урожайные места сытость идет? Запретить, прекратить!

Царица кричит:

— Дайте мне пряника самоходного, я таких в глаза не видала, зубами не жевала. Ни жить, ни быть не могу — давайте пряника скореича!

Министеры духу-смелости набрали и прокричали:

— Ваше царско, пряники-то печатные!

— Как так печатные? Кто дозволил!

Царь заскакал, в горячке всем министерам, генералам своим по зубам надавал. Власть свою показал. Дух перевел и заговорил:

— Я своим царьским словом приказал: учить — обучайте, а понимать не позволяйте. Я грамоту дозволяю — понимать запрещаю!

— Ваше царско, по твоему указу в тот край политиков ссылали. Кабы их на тройках прокатили, оно бы ничего, а они пешком шли и каждым шагом народу пониманье несли.

Царь схватил бутылку с казенной водкой, о донышко ладошкой хлопнул, пробку умеючи вышиб, одним духом водку выпил и царское слово сказал:

— Заботясь неизменно о благе своем, приказываю пряники писаны-печатны опечатать и впред запретить!

Министеры разными голосами рапортуют:

— Ваше царско, дозвольте доложить, архангельскому народу нельзя запретить — из веков своевольны. Дойдут пряники писаны-печатны до глухих углов, тогда трудно будет нам. Надо особых людей послать для уничтожения сладкого житья и теплых вод, а народ к голоду повернуть. С сытым народом да с грамотным нам не справиться.

Царь ногами дрыгнул, кулаком по короне стукнул:

— Я умнее всех! Сам в Уйму поеду, сам распорядок наведу, сам хорошее житье прикончу!

Царь распетушился, на цыпочки вызнялся, пока-

зывая свое высочайшество, да не вышло: ни росту, ни дородства не хватало.

Два особенно усердных солдата от всего старанья царя штыками за опояску подцепили и вызняли высоко, показали далеко.

И... крик поднялся!

Вопят, голосят царица с царевятами, министеры с генералами.

— Что вы, полоумные, делаете? Разве можно всему народу показывать настоящую царскую видимость! Народу показывать можно только золоту корону, что под короной, то не показывается, про то не говорится!

Царь в поход собрался.

— Еду, — кричит, — в Уйму, вот моя царская воля!

Вытащил трон запасной, поставили на розвальни, дровни узки оказались. Трон веревками привязали.

Стали царя обряжать, одевать, надо царскую видимость сделать. На царя навертели, накрутили всякое хламье-старье — внизу не видно, а вид солиднее. Поверх тряпья ватный пинжак с царскими знаками натянули, на ноги ватные штаны с лампасами, валенки со шпорами. Сапоги с калошами рядом поставили.

Трудно было на царя корону надеть. Корона велика, голова мала.

На голову волчью шапку с лисьим хвостом напялили, пуховым платком обвязали и корону нахлобучили. Чтобы корону ветром не сдуло, ее золотыми веревками к царю привязали.

Под троном печку устроили для тепла и для вар-

ки обеда. Царю без еды, без выпивки часу не прожить, ему надобно все что-либо жевать или спать.

Трубу от печки в обе стороны вывели для пуска дыма и искр из-под царя для всенародного устрашения: царь, мол, с жаром!

Все снарядили. В розвальни тройку запрягли. Все в полной парадности, — не простой человек едет, а сам царь!

В колокола зазвонили, в трубы затрубили. Народ палками согнали, плетками били. Народ от боли орет. Царь думает — его чествуют.

На трон царь забрался, корону залихватски сдвинул набекрень, печать для царских указов в валенки сунул, шубу на плечи накинул второпях мехом кверху.

Царица со страху руками плеснула, о снег грохнулась. Министеры и все царские прихвостни от испугу закричали:

— Ай, царь шубу надел шиворот-навыворот, задом наперед! Быть царю биту!

От крику кони сбесились, еле удержали.

Вышел один министер, откашлянулся и такие слова сказал:

— Ваше царско, не езди в Уйму, я ее знаю: деревня длинновата, река широковата, берега круто-ваты, народ с начальством грубоват и впрямь побьют!

Царь с трона слез, сел на снегу рядом с царицей и говорит:

— Собрать мою царскую силу, отборных полицейских и послать во все места, где народишко от

писаных-печатных пряников сытым стал. Мой царской приказ: повернуть сытых в голодных!

И подписал: быть по сему.

К нам приехала царска сила — полицейские. Таких страшилищ мы и во снах не видывали. Под шапками кирпичные морды, пасти зубастые — смотреть страшно. И толстущие, широченные.

Страшны, сильны, а на сладкости попались. Увидали пряники и с разбегу, с полного ходу вцепились зубами в пряничные углы домов. Животы набивают. А нам любо!

Много полицейские ели, сопели, потели, а дальше углов не пошли, нутра не хватило, и вышло им худо! Их расперло, ладно, дело было зимой, летом их бы разорвало.

Объелись полицейские, руками, ногами шевелить не могут. Мы у них пистолеты отобрали, в кобуры всякого мусору наклали, туши катнули, ногами пнули.

И покатилась от нас царска сила.

Царь в город записку послал, спрашивал: как евонна сила действует? Записка в подходящие руки попала, и ответ был даден.

«Полицейские от нас выкатились. Царску силу мы выпинали. Того же почету вам и всем царям желаем».

ТЕРПЕНЬЕ ЛОПНУЛО

Наше крестьянское терпенье было долгое, а и его не на всяк час хватало. Про нас и начальство старовременное говаривало:

— Маслены они, маслены, да не до дна.

Бывало, что терпенья нашего не хватало, да голыми руками не много наделаешь. Начальство, само того не думая, нас надоумило оружье сделать, и надоумило на свою голову.

Богатеи с помощью всякого начальства затеяли у нас кирпичный завод поставить. Пока планы разводили, построение производили, нам заработки коробами сулили.

Нам лишь бы от начальства бывалошного подальше, а заработки мы сами сыскать умели, но перечить не стали, да нашего согласья и не спрашивали.

На планы мы смотрели с видом непонимающим, а что нам надобно — усмотрели. Для видимости мы показали, что гонимся за заработком. Взялись всей Уймой трубу заводскую мастерить. Сделали.

По виду труба, какой и быть надо, а по сущей

сути это было ружье оглушительное, далекострельное. Ствол калибром на номер четыре, как у кума Ферочки, не номер два, как у меня, а больше номера первого. Коли не знать, что под крышей есть, дак очень даже настоящая заводская труба и дым пущала густой.

Завод в ход пошел. Мы спины гнули, из сил выбивались, а богатеи карманы набивали, с начальством барышами делились, — нас обдували, не все заработанное отдавали, отдавая, штрафы и вычеты придумывали.

Большим терпеньем мы долго держались, крепились. Да не стерпели, лопнуло наше терпенье.

И дело все произошло из-за никудышности — из-за репы, из-за брюквы пареной.

Наши хозяйки во все годы на рынке пареную брюкву, репу продавали. На рынке не то, что теперь — грязь была малопролазная. Для сбережения товаров и самих себя мы в грязь поперечины набросили, доски постелили, горшки, шайки с пареным товаром расставили, торгуем. Кому на грош, кому на полторы копейки.

Прилетел полицмейстер на паре лошадей. Полицейски и чиновники до него, до полицмейстера, успели с нас содрать за все, про все, для полицмейстера у нас ничего не осталось, мы и за карманы не беремся.

Увидал полицмейстер, что мы не торопимся ему взятку собрать, и крик поднял:

— Это непочтение, неуважение, не признают закона! Чина! Меня!

От его ругани ветер прошел, хоть овес вей.

Полицмейстер раскипятился, топнул по доскам, по самым концам, и забегал. Доски одна за другой, своей чередой, концами вскидывают, горшки, шайки выкидывают, пареной брюквой, репой палят, будто снарядами. Костей не ломали, а растворенные глотки полицейским всех чинов заткнули. Горшки, шайки порожняком полетели в окна разных управ да правлений и ни одного чиновника не обошли.

Простого народу не тронули. А в губернатора полная шайка пареной репы угодила.

Губернатор репу прожевал, от брюквы прочихался, духу вобрал и истошно закричал:

— Взяток не дают! Не ту еду подают, какую я хочу! Бунт!

И скорой минутой царю депешу послал.

У первых генералов ума палата, у царя самого больше того. Царь приказ строгой отписал:

«Арестовывать, расстреливать, ссылать. Усмирить в одночасье».

Это за брюкву-то, за репу-то!

Тут вот наша труба — ружье оглушительное — пригодилась.

Повернули мы в городскую сторону заводскую трубу, ружейную часть примкнули. Работали всей деревней. Всей деревней зарядили. Всей деревней выпалили!

Всех чиновников до одного, всех полицейских оглушили. Всякого на месте как бы припечатало: что делал, с тем делом и оставило людям добрым на показ, на поучение.

Мы в городу собрались гулянкой по этому случаю. Ребят взяли зверинец из чиновников поглядеть.

И нагляделись, насмотрелись мы на чиновничьи дела, на их службу царскую!

Ловко чиновники лапу в казну запускали, видать, дело давно знакомое. Друг дружке в карман залезали, друг дружке ножку подставляли. Умеючи взятки брали, с бедняков последнюю рубаху снимали. Насмотрелись мы на чиновников, кляузы строчащих и на нас ехидные бумаги сочиняющих. Заглянули мы в бумаги, а там для нас и силки, и капканы, и волчьи ямы, и всякие рогатки, всякие ловушки наготовлены.

Подумать только — на что чиновники ум свой тратили!

Дух от чиновников тяжелый. Мы для проветривания окошки растворили настежь.

Награбленное добро все отобрали, голодному люду роздали. Отобрали все из рук, из карманов, из столов, из шкафов. Добра разного, денег было много, и все чужое, не чиновничье. Крючкотворными делами все печки во всем городе истопили.

Малые ребята и те поняли, какое такое у чиновников «законное основанье». Малые ребята и те заговорили:

— Как так царская сила держится, коли основанье у ней — воровство да плутовство!

Ребята на выдумку мастера. Чиновников казенными печатями к месту припечатали.

Мы свое дело сделали, домой ушли.

Чиновники в себя пришли, увидели, что их секреты известны стали всему свету. Пробовали на нас снова шуметь. Да в нас страху нисколько не осталось, а кулаки сжались.

КАК ПОП РАБОТНИЦУ НАНИМАЛ

(Старинная пинежская сказка)

— Тебе, девка, житье у меня будет легкое, не столько работать, сколько отдыхать будешь!

Утром станешь, как подобает, до свету. Избу вымоешь, двор уберешь, коров подоишь, на поскотину выпустишь, в хлеву приберешь — и

спи, отдыхай!

Завтрак-утренник состряпаешь, самовар согреешь, нас с матушкой завтраком накормишь — и

спи, отдыхай!

В поле поработаешь, в огороде пополешь, коли зимой — за дровами, за сеном съездишь — и

спи, отдыхай!

Обед сваришь, пирогов напечешь: мы с матушкой обедать сядем, а ты

спи, отдыхай!

После обеда посуду вымоешь, избу приберешь — и

спи, отдыхай!

Коли время подходящее, в лес по ягоду, по грибы

сходишь, а то матушка в город спосылает, так сбегаешь. До городу рукой подать, и восьми километров не будет, а потом —

спи, отдыхай!

Из городу прибежишь, самовар поставишь. Мы с матушкой чай станем пить, а ты

спи, отдыхай!

Вечером коров встретишь, подоишь, попоишь, корм задашь — и

спи, отдыхай!

Ужну сваришь, мы с матушкой съедим, а ты

спи, отдыхай!

Воды наносишь, дров наколешь —
это к завтраму — и

спи, отдыхай!

Постели наладишь, нас с матушкой спать повалишь. А ты, девка, день-деньской проспишь, проотдыхаешь, во что ночь-то будешь спать?

Ночью попрядешь, поткешь, повышиваешь, пошьешь и опять —

спи, отдыхай!

Ну, под утро белье постираешь, которое надо — поштопаешь да зашьешь — и

спи, отдыхай!

Да ведь, девка, не даром. Деньги платить буду. Каждый год по рублю! Сама подумай. Сто годов — сто рублев.

Богатейкой станешь!

КАБАТЧИХА НАРЯДИЛАСЬ

Кабатчиха у нас в деревне была богаче всех и хвастунья больше всех. Нарядов у кабатчихи на пол-Уймы хватило бы.

Было это в большой праздник. Вся деревня по улице гулянкой шла. Все вырядились, всяк в свою силу.

И кабатчиха выдвинула себя. И так себя вырядила, что народ столбами останавливался, на кабатчиху глядят, глаза протирают, себя проверяют: так ли есть, как видится?

Такой наряженности мы не видывали!

Напялила кабатчиха платье самое широкое с бантами, с лентами, с оборками, со вставками. Крахмаленные кружева пеной торчат.

Оделась широко, а кабатчихе все мало кажет. Нарядов много, хочет всеми похвастать. Пробовала комод с нарядами и шкаф с платьями на себя взвалить, да силы недостало тащить.

Придумала-таки кабатчиха, как народ удивить. Себе на бока по пятнадцати платьев нацепила для показу нарядностей запасу.

На голову надела медный таз для варки варенья. Оно верно, посудина у нас редкостная, пожалуй, всего одна на деревню.

Медный таз ручкой вперед, малость набок. На таз большой глиняный цветочник с живыми розанами поставила, шелковой шалью подвязала. Такой шляпы и в городе не видывали.

Под мышкой у кабатчихи зонтик большой. Это еще не все. Перед самым праздником кабатчик привез из городу большие часы стенные. Часы с боем, с большим маятником. Эту обновку еще никто не видал, — как не похвастать?

Кабатчиха и часы на себя напялила. Спереду повесила. Идет и завод вертит, на громкий бой заводит. Маятник из стороны в сторону размахивает. Народ увертывается, едва успевает отскакивать.

Часы бить стали. Сначала зашипело. Мы думали, кабатчиха на горячу сковороду села. Шипит громко, а пару не видать, и жареным не пахнет.

Часы отшипели и ударили бой частым громким звоном в один колокол и на всю Уйму!

Похоже на сполох.

Вольнопожарные услышали, мешкать не стали, вытащили вольнопожарную машину с двенадцатью рукавами. В кабатчиху воду стеной пустили из двенадцати рукавов.

Раз бьют сполох — значит заливай!

Кабатчиха зонтик растопырила, от воды загородилась, домой идти поворотилась. Она бы еще погуляла, да наряды носить на своих больших телесах устала и есть захотела.

А наряды — кто успел, посмотрел, кто не видел, тем расскажут.

Часы в колокол бьют и бьют, завод сделан длинный.

Вольнопожарная машина воду из двенадцати рукавов льет и льет.

Перед кабатчихой лужа большащая, широчащая, во всю ширину улицы. Лужу не обойти, не перескочить.

Ребята лодку притащили, перевоз устроили. Цену брали по копейке с человека.

Кабатчиха к перевозу пришагала.

— Везите меня на ту сторону, мне-ка обедать пора!

Ребята ей и говорят:

— С тебя, богачихи, одной копейки мало, плати по грошу с пуда. Как раз гривенник и будет!

Кабатчиха носом дернула, медным тазом на голове блеснула, живыми розанами качнула.

— Я с мелкими деньгами не знаюсь. У меня деньги только крупные, самая мелкая монета рупь. Сдачи давайте четыре двугривенных и один гривенник. И сдачу за мной несите, я мелких денег в руки не беру.

Где ребятам столько сдачи набрать?

— Хочешь, садись за весь целковый, а не хочешь — жди, когда лужа высохнет.

У кабатчихи от злости волнение произошло, от голоду в животе заурчало. Отдала рупь.

Поп Сиволдай будто по сговору явился. От праздничных сборов поповских поборов поповская широ-

кая одежда раздулась амбаром, карманы чемоданами. Поп руки воздел и запел:

Вот как я вовремя, в пору поспел,
Как в иголку вдел.
Кабатчиху за рупь везите,
За тот же рупь и меня перевезите.

Сиволдай с кабатчихой в лодку разом сели. Лодка булькнула и на дно осела.

При всем честном народе, посередки деревни, поп и кабатчиха в луже сидят. Угрузило их богатство, которое на них, хоть и не очень ихно.

Сиволдай барахтается, воду бурлит, вода через край пошла. Часы маятником размахивают, воду выплескивают. Вода в скорости вся ушла.

На улице только мокрое, грязное место, а в нем Сиволдай с Кабатчихой сидят и на два голоса кричат, чтобы их вызняли.

Крик полицейские услыхали, прибежали, увидали, обрадели.

С кабатчихи часы стащили, все наряды сняли, себе под мундиры накрутили. У попа праздничные сборы отобрали.

Попа с кабатчихой из лужи подняли, домой увели, грязной след замели.

Ну, это дело полицейское, нам оно постороннее,

КАК КУПЧИХА ПОСТНИЧАЛА

Уж такая ли благочестивая, уж такой ли правильной жизни была купчиха, что просто одно умиление!

В масленицу, как следует, купчиха с утра блины принималась есть. И ест блины — и со сметаной, с икрой, с семгой, с грибочками, с селедочкой, с мелким луком, с сахаром, с вареньем, с разными припеками, ест со вздохом и с выпивкой.

И так это благочестиво ест! Поест, поест, вздохнет и снова ест.

А как пост настал, ну, тут купчиха постничать стала.

Утром глаза открыла, чай пить захотела, а чай-то нельзя — потому пост.

В посту не ели ни молочного, ни мясного, а кто строго постился, то и рыбного не ел.

Купчиха постилась изо всех сил — она и чая не пила и сахару ни колотого, ни пиленого не ела. Ела сахар особенной — постный, вроде конфет.

Благочестивая заместо чая кипяточку с медом выпила пять чашек, да с постным сахаром пять, да

с малиновым соком пять, да с вишневым пять — не подумай, что с настойкой, нет, с соком, — и заедала черными сухариками.

Пока кипяточек пила, и завтрак поспел. Съела купчиха капусты соленой тарелочку, редьки тертой тарелочку, грибочков мелких рыжичков десяточек, запила все квасом сухарным.

Взамен чая сбитень стала пить паточной.

Время не ждет, оно к полудню пришло.

Обедать пора.

Обед весь постный, постный!

На первое жиденькая овсянка с луком, грибовница с крупой, луковая похлебка.

На второе: грузди жареные, брюква печеная, солоники — сочни сгибни с солью, каша с морковью и шесть других каш разных с вареньем и три киселя: кисель квасной, кисель гороховой, кисель малиновой. Заела все вареной черникой с изюмом.

От маковников отказалась:

— Нет, нет маковников есть не стану, хочу, чтобы во весь пост и росинки маковой во рту не было!

После обеда постница кипяточку с клюквой и с яблочной пастилой попила.

А время идет и идет. За послеобеденным кипяточком с клюквой, с пастилой и паужне черед пришел.

Вздохнула купчиха, да ничего не поделать — постничать надо!

После гороху моченого с хреном, брусники с толокном, брюквы пареной, тюри мучной, мочеными яблоками с мелкими грушами в квасу заела.

Ежели неблагочестивому человеку, то такого поста не выдержать — лопнет.

А купчиха до самой ужны пьет себе кипяточек с сухими ягодками.

Трудится — постничает!

Вот и ужну подали.

Что за обедом ела, всего и за ужной поела. Да не утерпела и съела рыбки кусочек — лещика фунтов на девять.

Легла купчиха спать, глянула в угол, а там лещ! Глянула в другой, а там лещ!

Глянула к двери — и там лещ! Из-под кровати лещи, кругом лещи. И хвостами помахивают.

Со страху купчиха закричала.

Прибежала кухарка, дала пирога с горохом — полегчало купчихе.

Пришел доктор — просмотрел, прослушал и сказал:

— Первый раз вижу, что до белой горячки объелась.

Дело понятное: доктора образованные и в благочестивых делах ничего не понимают.

КАК ПАРЕНЬ К ПОПУ В РАБОТНИКИ НАНЯЛСЯ

Нанялся это парень к попу в работники и говорит:

— Поп, дай мне денег вперед хоть за месяц.

— На что тебе деньги? — это поп говорит.

Парень отвечает:

— Сам понимаешь, каково житье без копейки!

Поп согласился:

— Верно твое слово, какое житье без копейки!

Дал поп своему работнику деньги вперед за месяц и посылает на работу. Дело было в утрях. Парень попу:

— Что ты, поп, где видано не евши на работу идти?

Парня накормили и опять гонят на работу. Парень и говорит:

— Поевши-то на работу? Да я себе брюхо испорчу. Теперича надобно полежать, чтобы пища на место улеглась.

Спал парень до обеда. Поп на работу посылать. стал.

— На работу? Без обеда? Ну, нет, коли время обеденное пришло, дак обедать сади.

Отобедал парень, поп на работу посылает. Парень попу толком объясняет:

— Кто же после обеда работает? Уж такое завсегдашное правило заведено, такое положение: опосля обеда — отдыхать.

Лег парень и до потемни спал. Поп будит:

— Хоть теперича иди поработай!

— На ночь-то глядя? Посмотри-кось: люди добрые за ужину садятся да спать валятся, то и мне надо.

Парень поел, до утра храпел. Утром наелся, ушел в поле, там спал до полдён. Пришел, пообедал и опять в поле спать. Спал до вечера и паужну проспал. К ужину явился, наелся.

Поп и говорит:

— Парень, что ты сегодня ничего не наработал?

— Ах, поп, поглядел я на работу: и завтра ее не переделать и послезавтра не переделать, сегодня и приматься не стоит.

Поп весь осердился, парня вон гонит.

— Мне такого работника ненадобно. Уходи от меня!

— Нет, поп, я хоть и задешево нанялся, да деньги взял вперед за месяц, месяц и буду жить у тебя. Коли погонишь, я, пожалуй, уйду, ежели хлеба дашь ден на десять,

МЕСЯЦ С НЕБЕСНОГО ЧЕРДАКА

На военной службе я был во флоте. В морском дальном плаванье довелось быть на большом корабле.

Шли мы, шли и до самого краю земли дошли. Это теперь вот у земли края нет да небо куда-то отодвинулось.

А в старое бывалошное время дошли мы до угла, где земля в небо упиралась, и мачтой в небо ткнулись. В небе дыру пропороли.

Я на мачту, а с мачты на небо залез. А там, ну, как на всяком чердаке, хламу разного навалено кучами: старые месяца держанные, звезды ломаные, молнии ржавые, громы кучей навалены, грозовы тучи запасные — их я стороной обошел. Ну-ко тронь их, что будет?

Хотел было простую тучу взять на рубаху каждодневную, да подходящей выбрать не мог: то толста очень, то тонка и в руках расползается. Что взять для памяти, звезду? А что их с неба хватать!

Выбрал месяц, который не очень мухами заси-

жен, прицепил на себя, как раз во весь живот пришелся, как по мерке, шинель застегнул, месяца не видно.

Высунулся с неба, а корабль отошел.

Что делать? Не сидеть же век на небе?

Размотал шарф с шеи, распустил его в одну ниточку, кинул вниз, начал спускаться, до конца нитки спустился. До корабля, до палубы не хватило километров полтораста. Такой-то пустяшный кусок, и скочить большой хитрости не надо!

Начальство в большом беспокойстве было, что в небо дыру пропороло и не заприметило, как я на небо забрался и с неба вернулся.

Вечером на поверке я шинель распахнул.

Что тут сталось!

Свет от месяца на моем животе на полморя полыхнул! Это для неба месяц вроде перегоревшей лампочки, а здесь, на земле, от него свет даже свыше всякой меры.

Командиры бегают, руками хлопают, руками машут, кричат мне:

— Малина, не светь!

Я выструнился, месяцем выпятился и рапортую:

— Никак нет, ваше командирство, не могу не светить. Это мое нутро светит тоской по дому. Как получу отпускную, так свет сам погаснет.

Начальство сейчас написало увольнительную записку домой, печати наставило для крепости и верности. Я шинель запахнул, и свету нету.

А в нос мне всякой пыли с небесного чердака напопало — и ветровой, штормовой, грозовой, громо-

вой. Я на корму стал да как чихнул ветром, штормом, грозой, громом!

Разом корабль к берегу принесло.

В те поры, надо сказать, страсть уважали блеск на брюхе. Всякой дешевенькой чиновничишка светлые пуговицы нацеплял, а который чином поболе, то всяки блестящие отметины на себя лепил. У самых больших чиновников все брюхо было в золоте и зад золоченый, им и спереду и сзаду поклоны отвешивали.

У кого чина не было, а денег много, золотую цепь поперек брюха весил. Народ приучен был золотым брюхам поклоны отвешивать.

Я это знал распрекрасно.

Вышел я на берег и прямо на вокзал, и прямо в буфет.

Меня пускать не хотели.

— Куда прешь, простой матрос, здеся для чистой публики!

Нас, матросов и солдат, и за людей не признавали.

Я шинель распахнул, месяцем блеснул до полной ослепительности.

Все заскакали, закланялись. Ко мне не то что с поклоном, а с присядкой подлетали услужающие и говорят:

— Ах... — и запнулись, не знают, как провеличать, — не желательно ли вам откушать? Всякая еда готова и выпивка на месте!

Я сутки напролет сидел ел, ел да пил. Ведь не близкой конец до неба добраться и с неба воротить-

ся, так проголодался, что суток для еды мало было. Отдал приказ поезду меня дожидаться.

Заместо платы за еду я месяцем светил.

С меня денег не просили, а всякого провианту за мной к поезду вынесли, чтобы в пути я не оголодался.

В вагон не полез, в вагоне с месяцем тесно, и никто не увидит моей светлости. Уселся на платформу. Меня подушками обложили, провианту наклали.

Шинель я снял. И пошло сияние на все округи!

Светило не с неба на землю, а с земли на небо, и такая была светлынь, что всю дорогу и встречали и провожали с музыкой и пели «Светит месяц».

Домой приехал. Начальство не знало, какое надо почтение выказать такому сияющему брюху?

Парад устроили, с музыкой до самой Уймы провожали, «ура» кричали.

Только вот месяц на небе в холоду держался, ветром обдувался, а здесь, на земле, тухнуть стал — и погас в ту самую минуту, как я домой воротился.

МАМАЙ

Видишь ножик, которым лучину щиплют? Я его из Мамаевой шашки сам перековал.

Эх, был у меня бубен из Мамаевой кожи. Совсем особенный: как в его заколотишь, так и травы и хлеба бегом в рост пустятся.

Коли погода теплая, да солнышко, да утречком в Мамаев бубен колотить станешь, вот тут начнут расти и хлеба и травы. К полдню поспеют, и жни, молоти, вечером хлеб свежой пеки. А с утра заново выращивай, вечером опять новый хлеб. И так каждый теплый день. Только амбары набивай да, кому надо, уделяй.

А ты говоришь — не жил в то время! Лучше слушай, что расскажу, сам поймешь — не видавши, не придумать.

Мамай, известное дело, басурманин был, и жон у его цельное стадо было, все жоны как бы двоюродные, а настоящая одна Мамаиха. Мне по нраву пришлась: пела больно хорошо. Бывало, лежим на полатях, особенные по моему указанию в Мамаихином шатру были построены. Лежим это, семечки грызем

и песню затянем. Запели жалостную, протяжную. Смотрю, а собака Кудя... — вишь, имя запомнил, а ты не веришь! Так сидит эта собака Кудя и горько плачет от жалобной песни, лапами слезы утирает. Мы с Мамаихой передохнули, развеселу завели. Кудя встряхнулась и плясом пошла.

Птицы мимо летели, остановились, сердечные, к нашему пенью прибавились голосами. Даже Мамайка, — это я Мамая так звал, — сказывал не однажды:

— И молодец ты, Малина, песни тянуть. Я вот никакой силе не покорюсь, а песням твоим покорен стал.

Надо тебе про Мамая сказать, какой он был, чтобы ты верил, что в ту пору я жил. Я такое скажу, что ни в каких книгах не написано, только у меня в памяти.

К примеру, вид Мамаев: толстый-претолстый, живот на подпорках, а подпорки на колесиках. Мамай ногами дрыгнет, подпорки на колесиках и покатят.

Ну кто тебе скажет про Мамаевы штаны? А такие были штаны, что одной штаниной две деревни закрыть можно было.

Вот раз утром увидал я с полатей, — идет на Мамая флот турецкой. Мамай всполошился. Я ему и говорю:

— Стой, Мамай, пужаться! С турками я справлюсь.

Вытащил я пароходишко — с собой был прихвачен на всякой случай. И пароходишко-то просто буксиришко, что лес по Двине таскает.

Ну, ладно. Пары развел, колесом кручу, из тру-

бы дым пустил с искрами, для страху. Да как засвищу, да на турок!

Турки от страху паруса переставили и домой без оглядки!

Я ход сбавил и тихо по морю еду с Мамаихой. Рыбы в переполох взялись. Они, известно, тварь бессловесная, а нашли-таки говорящую рыбу. Выстала говорящая рыба и спрашиват:

— По какому такому полному праву ты, Малина, пароход пустил, когда пароходы еще не придуманы?

— Мало ли что у других не придумано, другие придумывают во вред всем. А у нас завсегда наготове новопридуманное во благо людям и для защиты. А пароход из нашего уемского времени с собой прихватил. Успокоил, что вскорости домой ухожу.

Прискучило мне Мамая терпеть. Я ему и говорю:

— Давай, кто кого перечихнет. Я буду чихать первый.

Согласился Мамай, а на чих он здоров был. Както гроза собралась. Тучи заготовку сделали. Большущие, темнящие. Вот сейчас катавасию начнут — громыхать!

А Мамай понатужился, да полно брюхо духу набрал, да как чихнет! Тучи расскочились — которая куда и про гром и про молнию позабыли, без дела бросились в море.

Ну, ладно, наладился я чихать, а Мамай с ордой собрался в одно место. Я чихнул в обе ноздри разом. Земля треснула. Мамай со всем своим войском провалился.

Мне на пустом месте что сидеть? Одна головня в печке тухнет.

Я пароходишко завел, сел на него верхом и прямиком до Уймы. Городов в тогдашное время мало было, а коли деревня попадалась, подбрасывало малость.

Остался у меня на память платок Мамаихин, из этого платка сколько рубах я износил, а жона моя сколько сарафанов истрепала.

Да ты, гостюшко, домой не торопись, погости. Моя баба и тебе рубаху сошьет из Мамаихинова платка. Носи да встряхивай, и стирать не надо, и износу не будет, и мне верить будешь.

НАПОЛЕОН

— Это что за война? Вот когда я с Наполеоном воевал!

— С Наполеоном?

— Ну да — с Наполеоном. Да я его тихим манером выпер из Москвы. Наполеона-то я сразу не признал. Вижу — идет по Москве офицеришка плюгавенькой, иззяб весь. Я его зазвал в извозчий трактир. Угощаю сбитнем с калачами, музыку заказал. Орган валами заворчал и затрещал: «Не белы-то снеги».

Слышу кто-то кричит: «Гляди, ребята! Малина с Наполеоном приятельствует».

Оглядел я своего гостя, и впрямь Наполеон. Генералы его одевались с большим блеском, а он тихонечко одет, только глазами сверлит. Звал меня к себе отгащивать. Говорю я ему, Наполеону-то:

«Куды в чужую избу зовешь? Я к тебе в Париж твой приду. А теперь, ваше Наполеонство, видишь кулак? Присмотрись хорошенько, чтобы впредки не налететь. Это из города Архангельского, из деревни

Уймы. Не заставь размахивать. Одно, конечно, скажу: марш из Москвы, да без оглядки!»

Понял Наполеон, что Малина не шутит, — ушел. Мне для памяти табакерку подарил. Вся золотая, с каменьем. Сичас покажу. Стой, дай вспомню, куда я ее запропастил. Не то на повети, не то на полатях. Вспомню – покажу, там и надпись есть. «На уважительную память Малине от Наполеона».

— Малина, да ты подумай, что говоришь, при Наполеоне тебя и на свете не было.

— Подумай? Да коли подумать, то я и при татарах жил, при самом Мамае.

ИНТЕРВЕНТЫ

Ты, гость разлюбезный, про интервентов спрашиваешь. Не охоч я вспоминать про них, да уж расскажу.

Ну, вот было такое время, понаехали к нам интервенты, да и интервенток привели, — тьфу!

Понимали, видать, что заскочили на одночасье и почали воровать вперегонки.

Как наши бабы стираное белье развесят, вышитые рубахи, юбки с вышитым оподольем, — так тою же минутой интервенты сопрут, и перечить не смей.

По разным делам растервенились интервенты на нашу деревню и всех коней угнали. Хоть дохни без коней! Сам понимаешь, как без коня землю обработать. Тракторов в те поры не было, да и были бы, так и тракторы угнали бы!

Меня зло взяло: коня нет, а сила есть.

Хватил телегу и почал кнутом огревать!

Телега долго крепилась, да не стерпела, брыкнула задними колесами и понесла!

Я на ходу соху прицепил, потом борону. Вспахал

всю землю, некогда было разбирать, которая моя, которая соседа, которая свата или кума, — всю под одно обработал да засеял, и все в один упряг. Да еще огороды справил. Телегу я смазал досыта и поставил для передыху.

Вдруг интервенты набежали, от горячки словами давятся, от злости на месте крутятся. Наши ребята, на них глядя, в хохот пустились, — что с малых возьмешь!

Интервенты из себя лезут вон, истошными голосами кричат:

— Кто землю разных хозяев под одну спахал? Что это за намеки? Подать сюда этого агитатора!

Мы телегу вытащили.

— Вот она виновата, еенная проделка.

Интервенты к телеге бросились, а я телегу по заднему колесу хлопнул: знай, мол, что надо делать!

Телега лягнула, оглоблями размахнула, интервентов которых в болото, которых за реку махнула. Сама вскачь в город побежала ответ держать!

Я за телегой — как ее одну оставить? Телега разошлась, моего голосу не слышит, сама бежит, себя подгоняет.

В городе начальство интервентское на Соборной площади собралось, все в голос кричат:

— Арестовать! Колеса снять! Расстрелять!

Телега без раздумья да с полного маху оглоблями размахнулась на все стороны. Интервенты — на землю, а кои не успели опрокинуться, у тех скулы трещат. Работала телега за всю Уйму!

Интервенты сабли достали, из пистолетов палят, да куда им супротив оглобель!

Я за угол дома спрятался и все вижу: и увидал — волокут пушки большущие, в телегу палить ладят.

Я закричал из-за угла:

— Телега! Ты нам нужна, как мы без тебя? Телега, телега выворачивайся как-нибудь!

Телега услыхала, оглоблями пуще замахала, а сама к берегу, к воде пятится.

Пароходы, что за реку в деревни бегают, да буксиры, народ наш — рабочий брат — увидали, что телега в этаком опасном положении, на выручку заторопились. Пароходы по воде вскачь!

К месту происшествия прибежали, кормой повернулись, винтами воду на берег пустили. Интервентов и их пушки водой залили, пушки и палить не могут. С интервентов нарядность форменную смыло, и такой у них вид стал, что срам смотреть.

Пароходы телегу на мачты подхватили. Я успел на телегу сесть. Пароходы свистками марш завысвистывали и привезли телегу домой целехоньку.

Мы телегу в другой двор поставили для сбережения от интервентов. У телег отличие невелико — поди распознай, котора воевала?

А тебе скажу по дружбе — котора телега. Как в Уйму придешь, считай четырнадцатый дом от краю, — у повети стоит телега. Вот она самая и есть.

СТЕРЛЯДЬ

Ко мне в избу генерал интервентский заскочил. От ярости весь трепещется, криком исходится. Подай ему живую стерлядь!

У меня только что поймана была, не столь велика, — метра полтора с гаком. Спрятать не успел, держу рыбину под мышкой, а сам трясусь, коленки сгибаю, оторопь проделываю, будто уж очень и пуглив, а сам стерлядь тихонечко науськиваю.

Стерлядь, ты сам знаешь: с головы остриста, со спины костиста.

Вот интервент пасть разинул, чтобы дыху набрать да криком всю Уйму напугать.

Я стерлядь ему в пасть! Стерлядь вскочила и насквозь проткнула. Головой по ногам колотит, а хвостом по морде хлещет! Генерал интервентский ни дыхнуть, ни пыхнуть не может. Стерлядь его по деревне погнала, солдаты фрунт делали да кричали:

— Здравия желаем!

От крику стерлядь пуще лупила интервента, он шибче бежал.

Стерлядь в воду — и пошла мимо города, интер-

вент лапами всеми четырьмя по воде хлопает, воду выкидывает, как машина какая нововыдуманная.

В городе думали, что новая подводная лодка идет. Флагами да свистками честь отдавали и все спорили, какой нации новый водяной аппарат.

А как распознать интервентов? Все на одну колодку. Тетка моей жены, старуха Рукавичка, сказывала:

— Не вызнать даже, кто из них гаже!

А стерлядь мимо Маймаксы да в море вышла. По морю к нам еще интервентские военные пароходы шли и тоже нас грабить. Увидали в подозрительную трубу стерлядь с генералом, думали, мина диковинная на них идет, закричали:

— Гляньте-ко, русские какую-то смертоубийственную машину придумали!

В большом страхе заворотились в обратную сторону, да друг дружке бока проткнули и ко дну пошли.

Одной напастью меньше!

СПЛЮ У МОРЯ

Анне Константиновне Покровской

День проработал, уработался, из сил выпал, пора пришла спать валиться. А куда? Ежели з лесу, то тесно: ни тебе растянуться, ни тебе раскинуться — дерева мешают, как повернешься, так в пень, али во ствол упрешься. Во всю длину не вытянешься, просторным сном не выспишься. Повалиться в поле — тоже спанье не всласть. Кусты да бугры помеха большая.

Повалился спать у моря. Песок ровненький, мягонькой. Берег скатывается отлого. А ширь-то — раскидывайся, вытягивайся во весь размах, спи во весь простор!

Под голову подушкой камень положил, один — на двух подушках не сплю, пуховых не терплю, жидкими кажут. На мягкой подушке думы теряются и снам опоры нет.

Улегся, вытянулся, растянулся, раскинулся — все в полну меру и во всю охоту. Только без окутки спать не люблю. Тут мне под руку вода прибыла.

Ухватил воду за край, на себя натянул, укутался. И так ладно завернулся, так плотно, что ни подвертывать, ни подтыкать под себя не надо. Всего обернуло, всего обтекло.

И слышу в себе силу со всей дали, со всей шири. Вздохну — море всколышется, волной прокатится. Вздохну — над водой ветер пролетит, море взбелит, брызги пенны раскидает.



Спал во весь сон, а шевелить себя берегся. Ежели ногой двину — со дна моря горы выдвину. Ежели рукой трону — берега, леса, горы в море скину.

Сплю, как спится после большой работы, — сплю молча, без переверта.

Чую, кто-то окутку с меня стягивает. Соображаю во сне: что за забаву нашли отдыху мешать? Я проснулся, вполпросыпа. Глаза приоткрыл и вижу — солнце-то что вздумало?

Солнце дошло до края моря, на ту сторону заглядыват, ему надо было поглядеть, все ли там в порядке, а чтобы на той стороне долго не засидеться, солнце ухватилось за воду, за море, за мое одеяло — с меня и стаскиват.

Я за воду, за край ухватился, тут межень прошла; вода прибыла, я море опять на себя натянул, мне поспать надо, я ведь недоспал.

Солнце вверх пошло, меня пригрело. Я выспался так хорошо, что до сих пор устали не знаю.

Старики говорят: один в поле не воин. Я скажу — один в море не хозяин. Кабы в тогдашнее время мог я с товарищами сговориться, дак мы бы всем работящим миром подняли бы море краем вверх, поставили бы стоймя и опрокинули бы на землю. Смыли бы с земли всех помыкающих трудящими, мешающих налаживать жизнь в общем согласье.

Да это еще впереди.

Теперь-то мы сговоримся.

СОДЕРЖАНИЕ

3 р.